

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Арчибальд
Кронин

ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ФИНЛЕЯ

« И Н О С Т Р А Н К А »



Иностранная литература. Большие книги

Арчибальд Кронин

Дневник доктора Финлея

«Азбука-Аттикус»

1935, 1939, 1978

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Кронин А. Д.

Дневник доктора Финлея / А. Д. Кронин — «Азбука-Аттикус»,
1935, 1939, 1978 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21348-7

К рассказам о докторе Финлее из небольшого шотландского городка, о его старшем коллеге докторе Камероне и его невозмутимой экономке Джанет Арчибалд Кронин пришел уже состоявшимся писателем, имеющим за плечами несколько романов, в том числе и прославивший его «Замок Броуди». Однако именно эти трагические, забавные и трогательные рассказы, полные колоритных персонажей, до сих пор остаются самыми популярными и известными произведениями писателя и легли в основу снятого Би-би-си очень успешного сериала, который транслировался по телевидению с 1962 по 1971 год (первые два года сценарии писал сам Кронин). Два сборника, в которые они вошли (оба включены в русское издание), публикуются во всем мире по сей день. Наконец-то знаменитый «Дневник доктора Финлея» приходит и к нашему читателю. Впервые на русском языке!

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-21348-7

© Кронин А. Д., 1935, 1939, 1978
© Азбука-Аттикус, 1935, 1939, 1978

Содержание

Приключения черного саквояжа	5
1. Радикальное средство доктора Финлея	5
2. Пантомима	10
3. Сестры Скоби	18
4. Жена героя	24
5. Неверное решение	32
6. Потерянная память Коротышки Робисона	39
7. Человек, который вернулся	46
8. Чудо Лестрейнджа	53
9. Варенье из дикой малины	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Арчибальд Кронин

Дневник доктора Финлея

Приключения черного саквояжа

1. Радикальное средство доктора Финлея

Когда Финлей чувствовал, что ему следует размяться после долгой ежедневной тряски в двуколке, он частенько отправлялся по вечерам пешком на Леа-Брэ.

В ту пору, еще до того, как преуспевающие горожане начали усеивать вершину холма своими картонными виллами, это была любимая прогулка доктора – по пологому склону от Ливенфорда и далее с крутым подъемом на запад, к заливу Ферг.

С вершины открывался великолепный вид на эстуарий. Тихим летним вечером, когда солнце опускалось за Ардфилланские холмы, этот широкий водный простор внизу, с едва заметным дымком парохода на горизонте, вызывал душевное волнение.

Но для Финлея все это было угроблено Сэмом Форрестом с его креслом на колесах.

Красный, в складках жира, откинувшийся на подушки, словно лорд, Сэм появлялся в сопровождении бедняги Питера Ленни, который, тяжело дыша, толкал перед собой кресло с Сэмом.

Затем наверху, пока Питер отдувался, вытирая пот со лба, Сэм величественно отпускал маленькую металлическую рукоятку руля, вытаскивал из кармана плитку прессованного жевательного табака, с хрустом откусывал, разевая пасть, как огромный бык, и торжественно озирал не открывающийся перед ним вид, а крутой спуск с холма, как бы говоря: «Вот, друзья мои! Вот где случился тот кошмар».

Все это произошло уже пять лет назад.

Тогда Питер Ленни был бойким молодым человеком двадцати семи лет от роду, очень скромным и услужливым, – он владел несколькими торговыми лавками на Колледж-стрит, которые с робкой дерзостью называл «Торговым центром Ленни».

В романах у малорослых мужчин, как правило, бывают большие властные жены, но в действительности это далеко не так. И Ретта Ленни была такой же маленькой, subtilной и неприятельной, как и ее муж.

А потому их часто «кидали» в бизнесе. Но, несмотря ни на что, дела их шли довольно успешно, перед ними открывалось прекрасное будущее, и они с двумя детьми с комфортом жили в доме на две отдельные квартиры на Барлоан-вей, в достойном квартале, где стремились поселиться торговцы Ливенфорда.

Однако в Питере Ленни, скромном маленьком продавце, прыгающем за прилавком, таилась никем не подозреваемая жажда приключений. Бывали моменты, когда, лежа воскресным утром в постели с Реттой, он, хмуро уставившись в потолок, вдруг заявлял:

– Индия! – (Или это мог быть Китай.) – Вот что мы должны когда-нибудь посетить!

И Ретта смотрела на него с восхищением.

Возможно, именно эти романтические замашки и привели к покупке велосипеда-тандема, поскольку иначе Питер никогда бы не поступил столь опрометчиво, пусть в тот момент повальное увлечение «велосипедом для двоих» и достигло своего апогея.

Однако приобретенный Питером тандем, это сверкающее средство передвижения, это коварное устройство с накачанными воздухом шинами, стоившее кругленькую сумму денег, будучи еще не распакованным, вынудило Ретту недоверчиво ахнуть:

– О Питер!

– Будем кататься, – сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало как можно беспечнее. – Посмотрим окрестности. Запросто!

Однако все оказалось не так-то просто. Например, возникла заминка с шароварами для Ретты: она была маленькой застенчивой женщиной, и Питеру потребовалась целая неделя серьезных споров и уговоров, чтобы убедить жену выйти на люди в модной, но явно неподобающей одежде.

Сам Питер был в широкой куртке, довольно импозантно расстегнутой, так что, сидя на велике и крутя педали, он выглядел настоящим профи. И вот, одевшись как подобает, Питер и Ретта отправились осваивать свою покупку.

Они тренировались тайком, с наступлением сумерек, в тихих переулках вокруг Барлоан-вей, и многожды презабавно падали.

О! Сколько удовольствий было во всем этом! Раскрасневшаяся и хихикающая Ретта выглядела чрезвычайно привлекательно в своих шароварах, и Питеру нравилось поднимать ее, грациозно распластавшуюся на пыльной мостовой.

Супруги снова начали ухаживать друг за другом. И когда наконец, вопреки всем законам тяготения, они, ни разу не потеряв равновесие, объехали по кругу Барлоан-толл, то сошлись во мнении, что никогда еще их жизнь не была такой захватывающей.

Питер, многозначительно демонстрируя недавно купленную карту окрестных дорог, решил, что в воскресенье они совершат свой первый настоящий велопробег.

В то воскресенье был чудный рассвет, небо чистое, дороги сухие. И пара отправилась в путь. Питер неустрасимо припал к переднему рулю, Ретта позади мужественно крутила педали. Чувствуя на себе восхищенные и даже – о да – завистливые взгляды, они прокатились по Хай-стрит.

Динь-динь, динь-динь – тренькал их звонок. Какие мгновения! Динь-динь, динь-динь! Повернули налево – держись, Ретта, держись – через мост; затем вгрызлись в подъем на Нокс-хилл и далее нырнули за гребень Леа-Брэ.

Они спускались по склону – все быстрее и быстрее. Навстречу свистел ветер. Никогда еще они не летели столь стремительно.

Это было великолепно, это было потрясающе, но – боже! – это было ужасно быстро! Гораздо, гораздо быстрее, чем они рассчитывали.

От избытка эмоций Ретта побледнела.

– Тормози, Питер, тормози! – закричала она.

Он нервно нажал на тормоза, tandem трянуло, и Ретта чуть не перелетела через голову мужа. Тут он окончательно растерялся, отпустил тормоза и попытался выпростать ноги из педальных держателей.

Велосипедное чудовище, вильнув вбок, закусало удила и взбесившейся ракетой понеслось вниз по склону холма.

А у подножия стоял Сэм Форрест.

Сэм намеревался поклоняться по берегу Леа – это действительно было одним из двух его занятий. Другое занятие состояло в том, чтобы с особым усердием отираться у стойки бара «У слесаря».

Вообще-то, Сэм так редко покидал паб, что ему никогда не грозила реальная опасность свалиться на ровном месте.

Дело в том, что Сэм был бездельником, большим, толстым, ни к чему не пригодным пьянчужгой, с женой, занятой стиркой, и целой оравой ничем не занятых крикливых детей.

Сэм изумленно и в то же время ошарашенно наблюдал за приближающимся транспортным средством. Оно скатывалось на такой скорости, что он на секунду подумал, стоит ли

верить собственным глазам. Минувший субботний вечер оказался для него не из легких, и туман в мозгах Сэма все еще не развеялся.

Вниз-вниз-вниз – рассекал воздух тандем.

Питер, с застывшим от ужаса лицом, сделал последнюю попытку управлять двухседельным монстром, ударился колесом в бордюр, перелетел через дорогу и врезался прямо в Сэма.

Точнее – в его зад, поскольку Сэм уже успел изменить позицию, дабы ретироваться. Раздался отчаянный рев жертвы, сопровождаемый треском и грохотом тандема, части которого разлетелись в разные стороны, после чего наступила долгая тишина.

Затем Ретта и Питер выбрались из канавы. Они с недоверием посмотрели друг на друга, как бы говоря: «Мы живы? Этого не может быть».

Ошеломленный Питер слабо улыбнулся Ретте, и та, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок, слабо улыбнулась в ответ. Но тут они вспомнили о Сэме!

А как же Сэм? Увы и ах! Бедный Сэм лежал в дорожной пыли и стонал. Они бросились к нему.

– Ты ранен? – воскликнул Питер.

– Я мертв, – простонал Сэм. – Вы прикончили меня, проклятые убийцы.

Ужасная тишина, прерываемая лишь стонами Сэма. Питера колотило от ужаса, и все же он попытался поднять упавшего, который был вдвое тяжелее его.

– Не трогай меня! Не трогай! – завопил Сэм. – Ты меня на куски разорвешь!

Ретта побледнела еще больше.

– Вставай, Сэм, вставай! – взмолилась она.

Он был ей хорошо знаком – неделю назад она отказала ему в кредите.

Но Сэм не хотел вставать. Малейшая попытка поднять его вызывала у Сэма жуткие конвульсии, и казалось, что в его больших мясистых ногах опоры теперь не больше, чем в водянистом желе.

Время шло. Ретта и Питер были в полном смятении; они уже представляли себе изуродованный труп Сэма и самих себя, несчастных, на скамье подсудимых, под суровым взглядом судьи, надевающим черную шапочку.

Однако тут как раз и подоспела помощь в лице Рафферти и его легкого грузовичка.

Рафферти, продавец масла и яиц, для которого воскресенье – после ранней мессы – было ничем не хуже любого другого дня, ехал из Ардфиллана, где собирал яйца. С его помощью Сэм был поднят, положен среди яиц и отвезен в свой дом в Веннеле.

В процессе его транспортировки разбилось несколько яиц, но Питер и Ретта были готовы оплатить ущерб, на чем они страстно настаивали. О да, они заплатят – лишь бы Сэма благополучно довести, все прочее – ерунда.

Наконец под пронзительные причитания жены Сэм оказался дома в постели, окруженный своим любопытствующим потомством.

– Доктор, – стенала жена, – нам нужен доктор!

– Да-да, – пробормотал Питер. – Я позову доктора!

Как ему сразу в голову не пришло? Конечно, тут нужен доктор! Питер слетел с грязных ступенек и как ветер помчался за ближайшим доктором.

В то время доктор Снодди еще не был женат на богатой миссис Иннес и не переехал в полезный для здоровья Ноксхилл. Его еще ничем не примечательная недвижимость находилась на Хай-стрит, расположенной рядом с Веннелом. Этот Снодди и пришел к Сэму.

Сэм лежал на спине с открытым ртом и закрытыми глазами. Ни один мученик не страдал больше, чем Сэм, пока врач его осматривал.

Его стоны и в самом деле собрали толпу вокруг дома, полагавшую, что это он снова пользуется своей женой, однако, когда истина открылась, сочувствие к Сэму было огромным.

Доктор был впечатлен, хотя и озадачен состоянием Сэма: никаких переломов костей, никаких повреждений внутренних органов, но что-то, несмотря на это, было не так, о чем свидетельствовали столь явные страдания пациента.

Наконец Снодди, маленький, заурядный, напыщенный человечек, преисполненный огромным чувством собственного достоинства, глубокомысленно и зловеще изрек:

– Это позвоночник!

С глухим стоном Сэм повторил эти слова. И Питера до мозга костей пронзил ужас.

– Понимаете, – прошептал он, – это мы виноваты, мы несем полную ответственность. У него должно быть все необходимое. Он ни в чем не должен нуждаться! Ни в чем!

С этого и началось. Больному было необходимо питание, хорошее, полноценное. Питание было ему обеспечено. А также антидепрессант. Питер заметил, что бренди подходило для этого как нельзя лучше. А также полноценная постель – Ретта сама поставляла ему сменные простыни и наволочки. Полотенца, нижнее белье, ночные рубашки, кастрюли, джем, чай, сахар – все это плавно перетекало в дом больного. Потом – немного табаку, чтобы успокоить измученные нервы. И еще немного денег, поскольку миссис Форрест, привязанная к лежащему Сэму, не могла, как раньше, зарабатывать стиркой.

«Отнеси это Сэму» – стало главной фразой дня.

Конечно же, и Снодди заходил регулярно как часы. И наконец настал день, когда, отведя Питера в сторону, он произнес роковое слово «паралич». Сэм будет жить, но он никогда больше не встанет на ноги.

– Никогда? – запнулся Питер. – Я не понимаю!

Снодди издал свой напыщенный смешок:

– Просто наблюдайте, как бедняга пытается ходить, и все станет понятно.

Для Питера и Ретты это был сокрушительный удар. Они проговорили до поздней ночи, снова и снова возвращаясь к этой теме. Но выхода не было.

Ретта заплакала, и Питер тоже был близок к тому, но им следовало взять это на себя; это их вина – они и должны оплатить счет, а Сэм, бедняга Сэм... конечно, ему было намного хуже, чем им.

Купили кресло-каталку – Питера пробило потом, когда он увидел цену, – и Сэм в инвалидном кресле занял свое место в ливенфордском обществе.

Старший, четырнадцатилетний сын Сэма вполне мог катать его по прямой, и направление к торговому центру Сэм предпочитал всем другим. Он сидел возле магазина, греясь на солнышке и посылая за табаком, пирогом или своим любимым сушеным черносливом. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы отказать ему в кредите. Кредит Сэма был неограничен, к тому же он получал от Питера еженедельное пособие.

Недолгая сенсация по поводу кресла на колесах быстро сошла на нет, и Ливенфорд забыл о Сэме. А когда Питер и Ретта покинули уютный маленький домик на Барлоан-вей и переехали в комнаты над магазином, едва ли кто-нибудь это заметил, как и то, что их маленькая дочка бросила уроки музыки, а сын внезапно покинул частную школу, чтобы зарабатывать в конторе Гиллеспи.

Нахмуренные брови и озабоченный взгляд Ретты, а также седина в волосах Питера мало кого интересовали и едва ли вызывали сочувствие.

Как говорил об этом лично Сэм, многозначительно покачивая головой: «Зато они при своих ногах!»

Именно эту фразу и произнес Сэм в разговоре с Финлеем в тот роковой вечер первого июля.

Вечер был яркий – красивый закат и великолепный вид на залив. Финлей стоял на вершине холма, стараясь обрести покой в этом зрелище.

Его мысли занимал только что законченный прием, день выдался суетным, и настроение доктора Финлея в целом было скверным.

Наконец его стала наполнять целительная тишина окружающего пространства – умиротворенный, он закурил трубку. А затем из-за гребня холма в кресле-каталке появился Сэм.

Финлей тихо выругался. История Сэма и Питера была ему давно известна, и вид этого большого, заплывшего жиром увальня, паразитом впившегося в тощего и голодного Ленни, не на шутку разозлил его.

Доктор наблюдал за их приближением, раздраженно отмечая про себя, как непросто приходится Питеру, и, когда они достигли вершины, ядовито высказался по поводу проблем подъема инертной массы на такую высоту.

– Ему неча жаловаться, – вздохнул Сэм. – Зато он при своих ногах.

И тут Финлей инстинктивно взглянул на ноги Сэма, комфортно устроившиеся на кресле-каталке. Как ни странно, это были на удивление крепкие ноги. Толстые, как и весь Сэм, бугрящиеся под синими саржевыми брюками.

Странно, подумал Финлей, что нет ни атрофии, ни истощения этих бесполезных конечностей. Очень странно! С растущим подозрением он долго не спускал глаз с ног Сэма, а затем с ужасающей проницательностью вперил взгляд в лицо ничего не подозревающего человека, развалившегося в кресле-каталке. «Боже мой! – осенило Финлея. – Неужели? Неужели все эти годы...»

И вдруг, стоя рядом с креслом на краю холма и повинуясь какому-то дьявольскому порыву, он поднял ногу и подошвой ботинка сильно толкнул кресло.

Без всякой преамбулы кресло ринулось вниз.

Питер, словно окаменев от повторения ужасной истории, стоял с разинутым ртом, прожоя взглядом инвалидное кресло, а затем нервно вскрикнул.

Сэм с бычьим ревом пытался справиться с креслом. Но у кресла не было тормозов. На бешеной скорости кресло пронеслось вниз по дороге, врезалось в живую изгородь, перевернулось, и Сэм кувырнулся из него в заросли крапивы. На две секунды он исчез из виду в зеленом море жгучей крапивы, а затем чудесным образом выбрался оттуда.

Ругаясь на чем свет стоит, он вскочил на ноги и побежал к Финлею.

– Какого черта! – закричал он, размахивая кулаками. – Какого черта ты это сделал?

– Хотел проверить, не разучился ли ты ходить! – крикнул в ответ Финлей и первым ударил Сэма.

Питер и Ретта возвратились в дом на Барлоан-вей. Кресло-каталка было продано, и Сэм вернулся к своему прежнему занятию – отираться у стойки бара «У слесаря». Но каждый раз, когда Финлей проезжает мимо, Сэм шлет ему проклятия и плюет вслед.

2. Пантомима

Как правило, Ливенфорд обходился без театральных зрелищ.

К ресторанам и аттракционам на ежегодной ярмарке обычно добавлялись сеансы кинопередвижки, где в атмосфере, пропитанной запахом апельсиновых корок и керосиновым чадом, можно было за два пенса посмотреть «Девушку, которая свернула не туда» или «Убийство в красном амбаре».

Полной же противоположностью этому считались, конечно, любительские концерты. В зимний сезон по четвергам небольшая кучка утонченных леди и джентльменов развлекала столь же утонченную публику пением и декламацией.

«А теперь выступит мистер Арчибальд Смолл...»

После чего наливающийся краской мистер Арчибальд Смолл в скрипучих сапогах и вечернем костюме с чужого плеча выходил вперед и пел: «Тора! поговори сно-ова со мно-ой».

Между этими полюсами театральный ручеек в Ливенфорде пересыхал, и в городке опять воцарялся суровый дух ковенантеров¹.

Так что представьте себе, какой поднялся переполох, когда в начале декабря стало известно, что в Бург-Холл на неделю, начиная с хогманая, кануна Нового года, прибудет пантомима.

Пантомима! Ну конечно для детей! И все же даже в самом черством сердце она пробудила интерес и вызвала трепет у влюбчивой молодежи Бурга.

Даже Догги² Линдсей, сын провоста³, не скрывал своего интереса к пантомиме – снисходительного интереса, естественно; довольно специфического интереса, ибо Догги был представителем местного света, а именно его центром. Этот небольшой светский кружок и диктовал городу моду на крикливую одежду и вызывающие манеры.

Догги был бледнолицым юнцом, со склонностью к беспричинному смеху, прыщам и к невообразимому панибратству, выражавшемуся в дурной привычке хлопать своих знакомых по спине и, похохатывая, громогласно называть каждого стариной.

«Тяпнем по бренди, старина?» – таким было обычное приветствие Догги, когда он со знанием дела стоял в зале «Слона и замка». Догги носил яркие рубашки, блестящие запонки, а зимой – пестрое пальто с огромными карманами и воротником, неизменно подпиравшим его оттопыренные уши.

У Догги были поражающие воображение настоящие курительные трубки всевозможных изгибов и тяжелая трость, которой он стучал, шествуя по дороге. Он считался энциклопедическим знатоком женщин, а некогда держал бульдога.

На самом деле в Догги не было ни грамма порока. Он страдал от богача-отца, любящей, все ему прощающей матери и от своего худосочного телосложения. Добавьте к этому тщеславное желание провинциала, чтобы местные считали его повесой из повес, настоящим исчадием ада, – и вот вам портрет Догги в худшем его варианте.

Прибыла рождественская пантомима, труппа номер пять из Манчестера, которая забрела в эти северные края в надежде охмурить местных жителей «Золушкой». Но местные жители оказались менее податливыми, чем ожидалось.

¹ *Ковенантеры* – сторонники Национального ковенанта, манифеста шотландского национального движения в защиту Пресвитерианской церкви, изданного в 1638 г. – *Здесь и далее примеч. перев.*

² «Догги» в переводе с английского означает «песик, щенок».

³ *Провост* – мэр города в Шотландии.

В Пейсли на гастролирующую труппу Сэмюэлса хлынул дождь не букетов, а помидоров, а в Гриноке – настоящий град яиц. Так что ко времени прибытия в Ливенфорд моральный дух лицедеев оставлял желать лучшего.

У комика был слегка потускневший вид, хор путал слова, а мистер Сэмюэлс втайне придумывал срочное дело, которое могло бы оправдать его внезапный вызов в Манчестер.

Через два дня после премьеры в Бург-Холле Финлей встретился на Хай-стрит с Догги Линдсеем.

– Смотрите-ка, старина! – воскликнул Догги.

Он в основном окучивал Финлея как сведущего в оккультных тайнах тела. У незатейливого Догги либидо остро нуждалось в иллюстрированной книге по анатомии.

– Смотрите-ка, старина! Видел пантомиму?

– Нет! – сказал Финлей. – Что, хорошо?

– Хорошо! – Догги запрокинул голову и загоготал. – Боже мой, это чудовищно! Гадость, ужас, дрянь! Но все же, старина Финлей, это писк! – Он снова загоготал и, схватив Финлея за руку, спросил: – Ты не видел Дандини?

– Нет-нет! Говорю же, меня и близко там не было.

– Финлей, ты должен увидеть Дандини! – возмутился Догги, и глаза его увлажнились. – Богом прошу, ты должен увидеть Дандини! Именно ее, Финлей. Последнее слово тетки-травести. Старая извозчицья кляча в трико. Сам поймешь, о чем я. Избежала живодерни – та еще мамочка. Лет полста на сегодня, танцует, как куча кирпичей, и голос, как из бочки. О черт! У меня истерика от одной мысли о ней. – Он замолчал, совершенно опустошенный собственным смехом, но, взяв себя в руки, вытер глаза и объявил: – Ты должен увидеть ее, старина. Клянусь, что должен! Такое удовольствие нельзя пропустить. У меня есть места в первом ряду на каждое вечернее представление. Пошли со мной сегодня вечером. Питер Уир тоже придет и Джексон из «Рекламодателя»!

Финлей смотрел на Догги, испытывая сложные чувства: иногда этот юноша ему очень нравился, иногда вызывал чуть ли не ненависть.

С языка Финлея едва не сорвался отказ, но по причине какого-то смутного интереса – назовите это любопытством, если угодно, – доктор счел за лучшее согласиться и довольно сухо сказал:

– Могу заглянуть, если у меня будет время. В любом случае оставь мне место.

Затем, отказавшись от экспансивного предложения Догги насчет «тяпнем по бренди», он зашагал прочь, чтобы продолжить свои визиты к пациентам.

В тот вечер Финлей действительно заглянул в Бург-Холл, предварительно объяснив Камерону свои мотивы.

Камерон кивнул, насмешливо посмотрев на него:

– Сходи, если хочешь, а я закончу прием. Малышу Линдсею пойдет на пользу, если ты не дашь ему вляпаться в какую-нибудь неприятность. Он безмозглый псих, но, честное слово, есть в нем что-то хорошее.

Представление едва началось, когда Финлей скользнул на свое место, а публика, состоявшая в основном из молодых подмастерьев с верфи, уже принялась освистывать действо на сцене.

И правда, это было жалкое зрелище, а нервный мандраж артистов делал его просто чудовищным. И был, конечно, Дандини – двойник Дандини, в исполнении травести, Дандини как зеркало моды и эхо двора, франтоватый спутник принца!

Финлей заглянул в программку. Роль мальчика исполняла Летти ле Брюн. Ну и имечко! Ну и женщина! Это было высокое, растерянное, худющее создание – призрак в трико, явно набитом ватой, со впалой грудью и изможденным лицом, на скулах пятна румян...

Исполнительница главной роли машинально передвигала ноги и в прострации танцевала. От нее даже не требовалось петь. И действительно, когда хор подхватил припев, она едва пошевелила губами. Финлей мог бы поклясться, что она вообще не пела. Но ее глаза заворачивали – большие голубые глаза, когда-то, видимо, прекрасные, теперь были полны страдания и презрения.

Каждый раз в ответ на очередную порцию насмешек эти трагические глаза широко открывались, а лицо застывало в стоической гримасе. Чем дальше шло представление, тем напряженнее становилась атмосфера: шиканье, свист и, наконец, издевательские выкрики. Догги был в экстазе – сжимал руку Финлея и чуть ли не валился со своего кресла.

– Ну разве она не умора? Разве не отпад? Разве было что-то смешнее со времен моей бабушенции?

Как будто она была какой-то новой театральной звездой, а он – импресарио, который ее открыл.

Но Финлей не улыбнулся. В глубине души он испытывал боль, как при виде чужого унижения.

Когда под гром нарочитых аплодисментов занавес опустился, Финлей чуть не вскрикнул от облегчения. Но для Догги еще ничего не закончилось – нет, до конца было еще далеко.

– Мы обойдем вокруг, – осклабившись и подмигнув, заявил он, – заглянем за кулисы.

Похоже, он припас нечто более тонкое – какое-то более изощренное издевательство, нежели грубый акт яйцетаяния.

Финлей попытался было возразить, но они уже двинулись – Догги, Джексон и молодой Уир. Так что он последовал за ними по продуваемым сквозняками каменным коридорам Бург-Холла и поднялся по скрипучим ступеням в артистическую уборную Летти ле Брюн.

На самом деле это была общая раздевалка, с условными перегородками, рваными обоями и запотевшими стенами, однако почти вся труппа уже покинула помещение, наверняка испытывая облегчение оттого, что можно вернуться к себе.

Но Летти была там – сидела за захлапленным столиком и медленно застегивала пуговицы на платье.

Вблизи она выглядела еще уродливее. Она смыла с лица жирную краску, но на скулах все еще виднелись два ярких пятна, а под большими голубыми глазами залегли темные круги.

Она молча изучала гостей.

– Ну, мальчики, – не без достоинства произнесла она, – что вам угодно?

Догги с нарочитой галантностью шагнул вперед – о, он был большим выдумщиком, этот Догги Линдсей!

– Мисс ле Брюн, – чуть ли не жеманно сказал он, – мы пришли, чтобы сделать вам комплимент и спросить, не окажете ли вы нам честь, отужинав вместе с нами?

Она молчала, а стоявший позади остальных юный Уир фыркнул, пытаясь подавить разбивавший его смех.

– Сегодня не могу, мальчики. Я слишком устала.

– О нет, мисс ле Брюн, – возразил Догги, – всего лишь маленький ужин! Как он может утомить такую актрису с таким опытом?

Актриса почти невозмутимо окинула их всех печальным взглядом.

Она понимает, что он обманывает ее, с болью подумал Финлей, и принимает это как королева.

– Завтра вечером я бы могла с вами поужинать, если хотите.

Догги радостно улыбнулся.

– Отлично! Отлично! – воскликнул он и назвал время и место встречи.

Затем, не давая повиснуть очередной паузе молчания, он в своей обычной залихватской манере сверкнул перед ней золотым портсигаром.

Но она покачала головой:

– Не сейчас, спасибо. – На ее губах появилась легкая улыбка. – Я кашляю от курения.

Еще одна довольно неловкая пауза. Все оказалось не так забавно, как они ожидали. Но Догги встряхнулся:

– Что ж, мисс ле Брюн, пожалуй, нам лучше сказать *au revoir*. Мы ждем вас завтра вечером. И еще раз поздравляю вас с прекрасным выступлением.

Когда они выходили, она снова тихо улыбнулась.

На следующее утро, сидя за завтраком, Камерон бросил перед Финлеем только что полученную записку.

– Послушай, – суховато заметил он, – тебе лучше отреагировать на это, раз уж ты так интересуешься театром.

В адресованной доктору записке была просьба заглянуть к Летти ле Брюн.

Так вот и получилось, что Финлей отправился утром в дом номер 7 на Черч-стрит. Он пошел рано, движимый странным любопытством и странным же чувством стыда.

Должно быть, когда он вошел в комнату, что-то из испытываемых им чувств отразилось на его лице, потому что Летти чуть ли не ободряюще улыбнулась ему.

– Да не волнуйтесь вы так, – сказала она с меньшей, чем обычно, невозмутимостью. – Я хотела, чтобы вы пришли. Я справилась о вас после вашего ухода. Вы единственный, кто не пытался надо мной подшучивать.

Она лежала в постели, в окружении нескольких вещей, очевидно своих собственных: фотография в тисненой серебряной рамке, хрустальный флакон «Флоридской воды», маленькие, в когда-то изысканном, а теперь изрядно побитом корпусе дорожные французские часы.

Вокруг царила атмосфера какой-то странной утонченности, которую только сама Летти могла придать комнате для приезжих. Финлей это остро почувствовал, и в его голосе прозвучала исключительная сдержанность, когда он спросил, чем может ей помочь.

Она жестом пригласила его сесть и, перед тем как ответить, откинулась на подушку:

– Я хочу, чтобы вы сказали, сколько мне осталось жить.

В этот миг на его лицо стоило посмотреть, что, должно быть, даже позабавило ее, поскольку, прежде чем продолжить, она слабо улыбнулась:

– У меня чахотка... Простите, вы, наверное, предпочитаете слово «туберкулез». Я бы попросила вас послушать мои легкие и сказать, долго ли еще мне с этим возиться.

Он был готов проклинать себя за такую оплошность. Как можно было не заметить этого? Все симптомы были очевидны: лихорадочный румянец, истощение, учащенное дыхание – абсолютно все.

Теперь уже не было ничего непонятного в той странной, вызывающей жалость апатии, с которой она выступала накануне. Он поспешно поднялся и, не говоря ни слова, достал стетоскоп. Он долго прослушивал ее грудную клетку, хотя в длительной аускультации не было необходимости, настолько были поражены ее легкие.

Правое легкое практически не дышало, левое было испещрено активными очагами болезни. Закончив, он не знал, что сказать.

– Ну же, – подбодрила она его. – Смелее, просто скажите мне.

Наконец, в сильном замешательстве, он произнес:

– Вам осталось, наверное, месяцев шесть.

– Вы очень добры. – Она изучающе смотрела ему в лицо. – На самом деле вы имеете в виду шесть недель.

Он не ответил. Огромная волна жалости захлестнула его. Он пристально взглянул на нее, пытаясь представить, каким было в прошлом это изможденное лицо. Она и правда не была старой. Болезнь, а не годы, состарила ее. Глаза у нее были действительно необыкновенные;

должно быть, когда-то она была прелестной женщиной – явно женщиной со вкусом. А теперь гротескно семенящая в десятиразрядной пантомиме мишень для каждого провинциального хама!

Его мысли невольно сложились в неуклюжие слова:

– Сегодня вечером вам лучше не беспокоиться насчет этого ужина. Вам явно не стоит туда идти.

– Ой, но я иду! Уже и не помню, когда в последний раз меня приглашали на ужин. А следующего – еще дольше ждать...

– Но разве вы не понимаете... – перебил он ее.

– Понимаю, – ответила она. – Но если им хочется, пусть пошутят. Что такое жизнь? Просто маленькая шутка.

Она лежала, глядя в окно.

Потом, словно опомнившись, достала из-под подушки кошелек и спросила доктора, сколько ему должна.

Финлей густо покраснел. Ее обстоятельства говорили сами за себя. Но, несмотря на всю свою неопытность, он обладал тактом. У него хватило ума назвать плату – очень небольшую, – и он молча взял деньги.

Когда он уходил, она сказала:

– Я надеюсь увидеть вас сегодня вечером.

Весь этот день он не мог выбросить ее из головы.

Он поймал себя на том, что с нетерпением ждет наступления вечера. Ему хотелось снова ее увидеть и, если получится, помочь ей, разгадать скрывающуюся в ней тайну. И все же ему становилось не по себе при мысли о предстоящем ужине. Он боялся, что беспардонные насмешки Догги оскорбят ее.

Наконец пробило одиннадцать часов, настало время, назначенное для званого ужина в маленьком ресторанчике, недавно открытом на Черч-стрит человеком по имени Уильям Скотт. Это было довольно приличное заведение, посещаемое главным образом коммивояжерами и известное жителям Ливенфорда как «Суонк». Возможно, оно было названо так по причине некоторой утонченности, касающейся убранства столов, а именно скатертей и стеклянной посуды.

Разумеется, «Суонк» закрылся задолго до одиннадцати вечера, но Догги, знавший всех и вся, уговорил Скотта организовать хороший ужин в маленькой, с пылающим камином комнате.

На самом деле это была очень уютная комната с ковром и пианино в углу, возле красных бархатных занавесок, – его прикатали сюда для танцев.

Финлей пришел рано, но вскоре появились и остальные. Догги ворвался первым, с важным видом, словно давая знать, что сопровождает королевскую особу.

– Дандини! – напыщенно объявил он. – А вот и Дандини!

Джексон и молодой Уир, очевидно, были готовы поддержать кривляние Догги, потому что с преувеличенным почтением расступились перед Летти, пропуская ее к огню.

Она была одета очень просто, в темно-синее платье, и, возможно, благодаря полноценному дневному отдыху выглядела лучше – лицо ее было не таким измученным, как вчера.

Сразу же сели ужинать: отличный томатный суп, холодный цыпленок и отличное заливное из языка.

Затем Догги многозначительно выдернул пробку из бутылки шампанского и наполнил бокал Летти, умело вспенив его.

– Вы, конечно, пьете шампанское? – спросил он, подмигнув Уиру.

Она, должно быть, заметила это, но проигнорировала и ответила просто:

– Раньше мне нравилась «Вдова Клико». Но я уже очень давно его не пробовала.

– Да ладно, мисс ле Брюн, – сказал Догги. – Вряд ли это так. Полагаю, вы, звезды пантомимы, себя не забываете.

С полной невозмутимостью она ответила:

– Нет! У нас в турне совершенно отвратительная еда. Я уже несколько недель нормально не ела. Вот почему для меня это такое удовольствие. – Она отпила немного шампанского. – О, очень хорошее.

– Ага, мисс ле Брюн, – усмехнулся Догги. – Сразу видно знатока. Вы ведь бывали на многих званных ужинах. Ну же, расскажите нам о них поподробнее. Чем вас там угощали?

Она мечтательно посмотрела на огонь, протянула руку, как бы желая уловить его тепло.

– Да, меня приглашали. Много раз в «Романо», также и в «Гатти», и в «Кафе Рояль».

Догги ухмыльнулся. Наконец-то дело пошло на лад; она попала на крючок. Через минуту он заставит ее витийствовать на столе.

С хитрой усмешкой он долил шампанского в ее бокал:

– Это когда вы выступали в Лондоне?

– Да, в Лондоне.

– Естественно, вы играли в... ну... в более масштабных постановках, чем эта, мисс ле Брюн. Артистка вашего таланта...

Финлей стиснул зубы от наглости Догги, но прежде, чем он успел вмешаться, она покачала головой:

– Нет! Это я в первый раз попробовалась в пантомиме, – она бросила взгляд на Финлея, – и в последний.

– Может быть, вы выступали в Гранд-опера? – предположил коварный Догги.

На сей раз она спокойно кивнула:

– Да. В Гранд-опера.

Это было уже слишком, о да, слишком. Гранд-опера! Они чуть со стульев не попадали. Молодой Уир фыркнул, даже флегматичный Джексон хохотнул. Но Догги подавил смех, боясь испортить игру.

– Извините их, мисс ле Брюн, я полагаю, что с шампанским небольшой перебор. Вы сказали об опере, мисс ле Брюн, о Гранд-опера, мисс ле Брюн...

Она посмотрела на него спокойно и печально:

– Лучше не называйте меня этим глупым именем. Оно только для пантомимы. Мое настоящее имя Грей – Летти Грей, – распространенное имя в Австралии, откуда я родом, под этим именем я и пела.

Последовало ошеломленное молчание.

Затем Джексон, который так гордился тем, что помнит все публикации в прессе и что в его голове полно историй знаменитостей, длинно и насмешливо присвистнул:

– Летти Грей! Как можно выдавать себя за Летти Грей!

– Хотите верьте, хотите нет.

– Но Летти Грей была звездой. Она приехала из Австралии выступать в Ковент-Гардене. Она пела в «Изольде», «Аиде», «Богеме». У нее был триумф в «Мадам Баттерфляй». Десять лет назад Летти Грей была королевой Лондона.

– А теперь она здесь.

Джексон недоверчиво уставился на нее.

– Я вам не верю, – без обиняков брякнул он. – Летти Грей умела петь. Но вы, хоть убей, не запоете.

Она осушила свой бокал. Шампанское, ударив ей в голову, вызвало непривычный блеск в глазах, а щеки заметно порозовели.

– Вы не могли слышать, как я пою. – И в ее голосе неожиданно прозвучали надменные нотки. – Я уже много лет не пою. – Она снова бросила взгляд на Финлея. – Он мог бы сказать

вам почему. Но сейчас мне хочется петь. Да, полагаю, что сейчас спою. Я спою джентльменам, чтобы они заплатили за мой ужин.

Теперь она была похожа на королеву, обращавшуюся к деревенщине.

Догги и Уир, разинув рты, смотрели, как она встала и подошла к пианино.

Она открыла его, опустила пальцы на клавиши и замерла в долгой выразительной паузе. Затем, запрокинув голову, сделала глубокий вдох и запела. Она запела по-немецки – одну из «Lieder»⁴ Шуберта. Ее голос, в первые секунды еще неуверенный, как давно не использовавшийся инструмент, наполнил маленькое помещение божественной чистотой.

Он звучал все выше, выше, выше, поднимая их вместе с собой и насыщая сам воздух своей небесной гармонией.

Когда песня закончилась, наступила мертвая тишина.

Джексон смотрел на гостью как человек, узревший привидение, а в глазах молодого Уира были испуг и какой-то горький стыд. Но она забыла о присутствующих. Учащенно дыша, чуть наклонившись вперед, она мечтательно и отстраненно сидела за пианино.

Затем, уже для себя одной, снова запела – любовную арию из «Изольты».

Когда она закончила, они все еще сидели, словно окаменев. Наконец Догги очнулся.

– Боже мой! – смиренно прошептал он. – Это было какое-то чудо.

Она повернулась к ним и с полуулыбкой на губах сказала:

– Позвольте мне спеть «Allan Water».

Финлей, наблюдая за ней, за ее прерывистым дыханием, вскочил из-за стола.

– Нет-нет! – воскликнул он. – Ради бога, не надо... не надо больше петь.

Но она уже начала. Трогательные слова старой шотландской песни лились с несказанным подъемом:

На берегах спокойного Аллана,
Медленно струящегося с гор...

Они завороченно слушали ее – в глазах Финлея стояли слезы; Догги уронил голову на руки. Но голос, поднявшийся на втором куплете до последней, самой высокой ноты, внезапно оборвался и смолк.

Актриса покачнулась на стуле, на губах у нее выступила алая пена. Летти бессмысленно посмотрела на них и стала валиться на бок.

Финлей успел подхватить ее. Остальные с грохотом поднялись из-за стола.

– Что случилось? – ахнул Джексон.

– Кровотечение, – отрезал Финлей. – Принеси холодной воды, быстро!

Он отнес ее на диван в дальнем углу комнаты. Догги стоял и всхлипывал:

– Это я во всем виноват! Это все моя вина! О боже! Что я могу для нее сделать?

– Лови такси, дурак, – сказал Финлей. – Мы должны отвезти ее в больницу.

Когда ее доставили в больницу, Летти уже пришла в себя. В течение следующих нескольких дней она действительно немного окрепла, а затем стала медленно угасать. В общей сложности она прожила еще три недели.

Она была совершенно спокойна. Она не испытывала боли, у нее было все, что она хотела. Догги позаботился об этом. Он все оплатил. Каждый день он приносил ей цветы – огромные букеты цветов, которые вызывали на ее осунувшемся лице ту, уже знакомую, слабую, неуловимую улыбку.

Он был с ней, когда она умерла, и, выйдя тем холодным январским днем из больницы, он, пожалуй, выглядел несколько иначе, чем прежде, – взгляд его стал более зрелым.

⁴ Песни (нем.).

Летти Грей похоронена на ливенфордском кладбище.

Каждую неделю Догги со своей большой тростью и трубкой ходит туда. Он утратил порывистость, свой пустой смех и отчасти свое пристрастие к «тяпнем бренди». Но что-то в нем еще осталось от того, прежнего Догги.

3. Сестры Скоби

В то ясное сентябрьское утро, когда Финлей грел башмаки у камина, прежде чем обуться, в комнату с листком бумаги в руке вошла Джанет.

– Это вызов, – заметила она, – от Анабель Скоби. – И с каким-то особым выражением на лице протянула ему листок.

Финлей взял его – необычную узкую полоску бумаги, аккуратно вырезанную по линейке, что почему-то произвело на него впечатление, – и прочел написанное угловатым старомодным почерком:

Мисс Бет Скоби любезно просит доктора нанести визит ее сестре Анабель, которая захворала.

– Хорошо, Джанет, – кивнул он. – Я у себя это отмечу.

Она постояла, наблюдая, как он делает запись в своем журнале, и явно горя желанием рассказать ему что-то о Скоби. Противоборство между напускной сдержанностью Джанет и ее ужасной склонностью к сплетням привело к тому, что опущенные уголки губ у нее дернулись, как у кошки, увидевшей запретные сливки. Внезапно подняв глаза, он поймал ее устремленный на него взгляд, полный жажды чем-то поделиться. Финлей откровенно рассмеялся.

– Не волнуйся, Джанет, – дружелюбно сказал он. – Я наслышан о Скоби.

– Это и к лучшему, – взвилась она. – А то из меня вы ни словечка про них не вытянули бы.

Джанет развернулась и в сильном гневе выскочила из комнаты.

Дело в том, что большинство жителей Ливенфорда знали о Скоби. Бет и Анабель были сестрами. Две незамужние дамы, в возрасте далеко за пятьдесят, занимали старый домик из серого камня в конце Ливенфорд-Кресент, стоявший за полосой деревьев прямо на берегу эстуария и продуваемый ветром, с чудесным видом на открытую воду и корабли, с привкусом соли в воздухе, насытившей морские глубины.

Он выглядел как дом морского волка, да таким он и был.

Построил дом капитан Скоби, когда после долгих схваток с атлантическими штормами, будучи вдовцом с двумя взрослыми дочерьми, ушел в отставку. Он построил его правильно и удобно, чтобы видеть, слышать и обонять море, которое так любил.

Абернети Скоби, невысокий, подтянутый, добродушный человек, отслужил свой срок на парусниках, нес вахту на старых, с гребными колесами, пароходах, которые в восьмидесятые годы с лязганьем и шумом ходили в Калькутту, и наконец стал капитаном «Магнетика», лучшего двухвинтового судна, когда-либо покидавшего верфи Латты и предназначавшегося для переходов через Южную Атлантику. Но это в некотором смысле преданья старины, ибо капитан Скоби умер восемнадцать лет назад. Однако его дочери Бет и Анабель все еще жили на берегу эстуария в прочном, обдаваемом морскими брызгами домике, который построил их отец.

Бет была старшей – маленькая, смуглая, сухопарая, с черными грозными бровями, волосы, как проволока, туго стянуты в узел на затылке.

Анабель, на два года моложе, была очень похожа на сестру, только повыше и поугловатее. Однако отличалась румянцем на щеках, а иногда, когда дул резкий ветер, увы, покраснением кончика носа.

Одевались они – две настоящие старые девы – одинаково: у обеих одинаковые туфли, перчатки, шляпы, чулки из одной и той же шерсти, и всегда в черных платьях с узкой белой оторочкой на воротнике и манжетах.

И у них было одно и то же выражение на лицах – мрачноватый и несколько враждебный взгляд, который, похоже, почему-то свойствен старым девам, вынужденным слишком долго жить вместе. А они и были всегда вместе.

За пятнадцать лет они ни разу не расставались. *Но за те же пятнадцать лет они не сказали ни единого слова друг другу.*

Сей поразительный факт казался невероятным. Но он действительно имел место. И как все самые невероятные факты, он возник самым нелепым образом. А именно из-за Руфуса.

Руфус был котом, большим рыжим котом, равно принадлежавшим обеим сестрам и равно уважаемым ими. Каждый вечер по очереди они вызывали Руфуса из садика во дворе, где он обычно, как разумный кот, совершал моцион, прежде чем с наслаждением растянуться на каменной плите перед кухонным очагом и уснуть.

– Руфус! Руфус! Иди сюда! – звала его вечером Анабель.

А на следующий вечер Бет, дабы не подумали, что она подражает сестре, восклицала:

– Киса, киса! Ко мне, Руфи, ко мне!

Все шло как часы до того рокового вечера пятнадцатилетней давности, когда Бет, оторвавшись от вязания, а может, от вышивки, посмотрела на часы и спросила:

– Почему ты не позовешь Руфуса, Анабель?

На что Анабель беззлобно ответила:

– Потому что сейчас не моя очередь. Я звала его вчера вечером.

– Вот уж нет! – возразила Бет. – Вчера вечером звала его я.

– Ты его не звала, Бет Скоби.

– Я звала!

– Ты не звала!

– Извини, но я звала! Я это помню, потому что он все время прятался в кустах смородины.

– Это было позавчера! Я прекрасно помню, что ты говорила мне, когда вошла. Это было не вчера.

– Прошу прощения, но это было вчера вечером.

После чего они обе вышли из себя и не на шутку распалились. В конце концов Бет решительно заявила:

– Последний раз прошу тебя, Анабель. *Иди* и позови кота!

На что Анабель с такой же решимостью прошипела:

– Сейчас *не* моя очередь звать кота.

Тут они обе вскочили и отправились спать. Ни та ни другая не позвала кота.

Все могло бы закончиться хорошо, если бы Руфусу, столь неожиданно оказавшемуся на свободе, не взбрело в глупую кошачью голову гульнуть.

На следующее утро Руфуса в доме не оказалось – он пропал, и притом навсегда. И когда стало понятно, что Руфус безвозвратно потерян, Бет повернулась к сестре, как гадюка, на которую наступили.

– Я больше никогда, – заявила она со всей яростью, на какую только была способна, – не заговорю с тобой, пока ты не бухнешься на колени и не попросишь у меня прощения за то, что ты натворила.

– А я, – со всей страстью возразила Анабель, – больше никогда в жизни не заговорю с тобой, пока ты на коленях же не попросишь у меня прощения.

В ходе семейных ссор подобные клятвы звучали и раньше. Но на сей раз самым странным было то, что сестры Скоби стали блюсти клятву, и еще необычной было то, каким образом.

Итак, в половине двенадцатого, в тот самый день, когда Финлей получил записку с просьбой осмотреть мисс Анабель, он направился по усыпанной белой галькой дорожке к дому Скоби и осторожно постучал в дверь, которую открыла сама Бет Скоби.

Хотя сестры жили в достатке и получали доход от общей ренты, они гордились тем, что не держали горничной.

– Пройдите, пожалуйста, сюда, доктор, – сказала Бет, провожая его в холодную чистую гостиную с мягкой, набитой конским волосом мебелью, морскими пейзажами на стенах, пре-

восходным фарфором Сацума в буфете и тяжелыми, представительского вида, мраморными часами, торжественно тикающими на каминной полке, и тем же бесцветным голосом добавила: – Я посмотрю, готова ли моя сестра вас принять.

И она вышла из комнаты.

Оставшись один, Финлей инстинктивно подался к камину, чтобы согреться. Однако в камине не было ни единого приветливого язычка пламени, только решетка, скрытая за резным лаковым экраном. Но внимание Финлея привлекла аккуратная стопка бумажных полосок на каминной полке, рядом с часами, таких же, как та, на которой была написана адресованная ему просьба. Рядом с этой стопкой лежал карандаш. Смутная догадка стала всплывать на поверхность сознания доктора.

Вдруг Финлей приметил две скомканные бумажки, валявшиеся за экраном на каминной решетке, и, движимый странным любопытством, наклонился и поднял их.

На первой было написано карандашом:

Я плохо себя чувствую, пожалуйста, пошли за доктором.

На второй:

Не мели чепуху, воображая, будто ты больна.

В изумлении Финлей бросил бумажки. «Так вот как они общаются все это время», – подумал он.

В этот момент посторонние звуки заставили его обернуться. В дверях стояла Бет.

– Моя сестра примет вас, – ровным голосом объявила она.

И он мог бы поклясться, что она сжимала в ладони скомканную бумажную полоску.

По указке мисс Бет – сама она не последовала за ним – он поднялся по лестнице и вошел в одну из двух спален.

Анабель лежала на большой кровати с медными набалдашниками, под красиво вышитым покрывалом. Постельное белье и подушки выглядели великолепно. Однако о самой Анабель этого никак нельзя было сказать.

Всего каких-то пять минут потребовалось Финлею, чтобы диагностировать у нее грипп – его ранние симптомы, – с которым ей придется несладко.

Сухая кожа, повышенная температура, учащенный пульс и уже начавшиеся подозрительные хрипы в основаниях легких.

Она с мрачным видом дала себя осмотреть. В ней не было пугливой стеснительности, столь часто свойственной пожилым незамужним дамам.

Едва закончился осмотр, как она сразу же перешла к делу:

– Значит, я заболела, судя по вашему лицу?

– У вас грипп, – честно сказал он. – Сейчас очередная эпидемия. Протекает он тяжело, но без серьезных последствий.

В ответ на его уклончивые слова она коротко рассмеялась, что вызвало у нее кашель.

– Я имею в виду, – покраснев, уточнил он, – что через неделю или десять дней все пройдет.

– Конечно пройдет!

– А пока мне лучше найти для вас сиделку.

– Вот только не это, доктор. – Взгляд ее глубоко посаженных глаз снова посуровел. – Моя сестра позаботится обо мне. Конечно, сиделка из нее, бедняжки, никакая, но я как-нибудь с этим смирюсь. – Анабель помолчала. – Знаете, доктор, она очень упряма. Упряма донельзя и сварлива к тому же. Но я терпела это в здравии. Перетерплю и в болезни.

Ему больше нечего было сказать Анабель. Он сложил стетоскоп, захлопнул саквояж и спустился на первый этаж.

В гостиной, окруженный мягкой, набитой конским волосом мебелью, морскими пейзажами, фарфором Сацума и монументальными часами со стопкой бумаги возле них, он сообщил Бет:

– У вашей сестры грипп.

– Грипп! Всего-то? Ну-ну! Анабель всегда любила себя пожалеть.

– Ваша сестра действительно больна, – резко повысил он голос. – Неужели вам не понятно? В ближайшие дни ей станет только хуже, прежде чем может наступить улучшение. Гораздо хуже. Этот грипп – не шутка. У нее настоящий легочный тип. Ей нужен будет уход.

Бет легко отмахнулась с ироничным видом:

– Уж я-то о ней позабочусь. И позабочусь как положено. Хотя я почти не сомневаюсь, что она только притворяется бедненькой больной. Она, знаете ли, упряма, доктор. Упряма донельзя и к тому же сварлива. Вы и не поверите, что мне пришлось пережить. Но то, что я от нее терпела, пока она была здорова, уж поверьте, перетерплю и теперь, когда она больна.

Финлей в изумлении уставился на нее:

– Есть только одна проблема. – Он сделал паузу и от неловкости прочистил горло. – Похоже, вы с сестрой не в ладах. В таких обстоятельствах вы не сможете ухаживать за ней.

Она улыбнулась усталой, невеселой улыбкой:

– Мы справимся! Мы и так неплохо справлялись все эти пятнадцать лет!

Наступило молчание. Финлей пожал плечами – ему ничего не оставалось, как принять ситуацию.

Он начал пространно объяснять, что нужно делать. Дав четкие указания, доктор взял шляпу и вышел из дому.

И Бет принялась ухаживать за сестрой в том же упрямом молчании, которое длилось пятнадцать лет. Поначалу это было не так уж трудно.

Пока болезнь Анабель протекала в легкой форме, записки, как ласточки, летали между сестрами. Приподнявшись на подушках, больная писала:

Дай мне сегодня мясной бульон вместо каши.

И сиделка с невозмутимым видом писала в ответ:

Хорошо. Но сначала ты должна принять лекарство.

Смех, да и только! Но смех это или нет, от пятнадцатилетней привычки не так-то просто избавиться.

Однако под вечер второго дня в прекрасно отлаженной системе связи случился сбой.

Анабель стало хуже, гораздо хуже. Она лежала неподвижно и выглядела престранно. За окнами стемнело, и она, с пунцовыми щеками и невидящим взглядом распластавшись на кровати, впала в легкое беспамятство.

Она несла какой-то бред, слышались обрывки слов и фраз, но вдруг, посреди этой бесвязной чепухи, она ясно произнесла, обращаясь к сестре:

– Я так хочу пить, Бет. Пожалуйста, дай мне воды.

От этих слов Бет вздрогнула, словно ее пронзили копьем.

Анабель заговорила с ней – спустя столько лет, – Анабель заговорила первой. Бет всю трясло. Она прижала руку к сердцу, а затем воскликнула:

– Да, Анабель, я дам тебе воды! Вот, пей.

Она бросилась к кровати, приподняла голову сестры и протянула ей чашку.

Голос Бет, казалось, вывел Анабель из забытья. Она посмотрела на нее и улыбнулась.

При этом Бет разрыдалась, резкие, отрывистые всхлипы сотрясали ее узкую грудь.

– Прости меня, Анабель, – заливалась она слезами. – Мне ужасно жаль. Это все моя вина.

И на пустом месте.

– Может, это моя вина, – прошептала в ответ Анабель. – Может, была моя очередь его позвать.

– Нет-нет, – всхлипывала Бет. – Думаю, моя очередь.

Когда в тот вечер пришел Финлей, Бет ждала его в гостиной. Всю угрюмую мрачность с ее лица как рукой сняло, и теперь оно выражало неподдельную тревогу.

– Доктор, – заговорила она, едва он вошел, – моей сестре гораздо хуже. Вы же не допускаете... вы же не допускаете, что ей не станет лучше?

Взгляд доктора остановился на морском пейзаже на противоположной стене: «Магнетик», проходящий мимо мыса.

– Думаю, она поправится, – наконец сказал он. – Только немного удачи не помешает.

– Она должна поправиться! – истерично воскликнула Бет. – Неужели вы не понимаете, доктор, мы с этим покончили. Сегодня она заговорила со мной.

И без дальнейших объяснений мисс Бет залилась слезами.

Неожиданно для себя Финлей расчувствовался. Эти столь чуждые суровой натуре Бет слезы были подобны источнику, чудесным образом бьющему из голой скалы.

Он видел нечто удивительное и прекрасное в примирении двух сестер, двух этих злобных пустоцветов, превративших пустяковую ссору в дикую неприязнь и связавших свои жизни безмолвной враждой.

В каком-то внезапном поэтическом озарении Финлей подумал: спаси он мисс Анабель, и потом окажется счастливым свидетелем того, как ослабевают и распадаются узлы этих пагубных пут, как возрождается любовь, как два этих несчастных существа обретают все для щедрой и безбедной старости.

И столь сильна была эта мысль, что он произнес ее вслух:

– Мы должны спасти ее!

Но это было нелегко.

Дни текли незаметно, и Анабель то была в рассудке, то впадала в беспамятство, жар то нарастал, то спадал, силы постепенно покидали ее.

Эта болезнь вымотала ее. Казалось, вот-вот начнется повторная пневмония, которая могла положить конец всему. Во всяком случае, этого и опасался Финлей.

Временами он почти отчаивался – так долго не наступал кризис. Но Анабель была крепкой, была сшита из сурового материала. Она держалась мужественно. И у нее не было никаких просьб.

Бет преданно, с величайшей нежностью ухаживала за ней: уговаривала, ублажала, старалась развеселить.

– Давай, моя дорогая, прими свое лекарство. Попробуй еще немного этого замечательного куриного бульона. Это варенье из черной смородины должно облегчить кашель.

Наконец пришла награда – награда за бдительность Финлея и самоотверженную заботу Бет. Теперь, спустя полные две недели после начала болезни, Финлей имел все основания заявить, что Анабель выздоровеет.

Услышав эту новость, Бет опустила на кровать и уткнулась головой в подушку рядом с сестрой.

– Благодарение Богу! – всхлипнула она, измученная тревогой и бессонницей. – Благодарение Богу, что вы помогли мне! Не знаю, что бы я без вас делала.

С этого момента Анабель пошла на поправку. Возможно, из-за того, что острый период ее болезни затянулся, выздоровление было необычайно быстрым.

Через десять дней она уже могла вставать и сидеть в своей комнате у окна, зачарованно следя за судами, торжественно пересекающими туда-сюда морской залив.

Через две недели она уже спускалась в гостиную, а еще через неделю стала выходить из дому. А в конце месяца Финлей объявил, что она абсолютно здорова.

– Вы совершенно правы, доктор, – подтвердила она с самодовольной улыбкой. – По правде говоря, я чувствую себя даже лучше, чем до болезни.

Он улыбнулся ей в ответ:

– Я загляну еще разок для порядка. Скажем, через неделю или дней через десять. Вас это устроит?

– Меня это вполне устроит, доктор, – со всей любезностью ответила она.

Когда он ушел, она продолжала тихонько раскачиваться в кресле-качалке.

– Славный молодой человек, – проговорила она, полная доброжелательства. – Да, он молодчага. Впрочем, теперь, когда все позади, я бы не стала утверждать, что это он меня спас. – Она многозначительно помолчала. – Да-да! Что действительно мне помогло, так это то, что ты взяла и заговорила со мной. – Еще одна пауза, полная смутного торжества. – Видишь ли, сама мысль о том, что ты сдалась, Бет, что ты заговорила первая, когда мне было плохо, подняла мне настроение.

Бет, слегка порозовев, села на диван:

– О чем ты говоришь, моя дорогая? Это ты, Анабель, заговорила со мной. «Дай мне попить», – сказала ты так же ясно, как я в данный момент говорю с тобой.

– Нет-нет, – мягко покачала головой Анабель. – Я прекрасно помню, как это было. Ты подошла к моей кровати и опустилась на колени. Затем, со слезами на глазах, ты сказала: «Это все моя вина, Анабель, дорогая. Это я во всем виновата».

– Что? – воскликнула Бет, напрягшись всем телом и устремив на сестру сердитый взгляд из-под черных бровей.

– Ну да, – хохотнула Анабель. – И ты даже сказала, что во всем была не права. «Это была моя очередь, – сказала ты. – На самом деле это была моя очередь позвать кота».

– Это неправда! – закричала Бет.

– А? Что это? – воскликнула Анабель, перестав раскачиваться и медленно заливаясь краской.

– Это неправда! – зло повторила Бет. – Это ты сама сказала, что ошиблась. Ты призналась, что была твоя очередь позвать кота.

– Я ничего подобного не говорила.

– Ты так и сказала.

– Я этого не говорила. Тогда была *не моя* очередь звать кота.

– Нет, *твоя*.

– Нет, *не моя*.

В том же духе они и продолжили. Дальше и дальше – напрямик к горькому, неизбежному финалу.

Поэтому, когда в конце недели к сестрам Скоби заглянул Финлей, между ними снова царил молчок. Бет и Анабель общались записками точно так же, как все эти пятнадцать лет.

Обхватив голову руками, Финлей в полном ошеломлении вышел из дому. Затем по примеру Камерона он воззвал к небесам:

– Господи! Если хоть одна из этих старых дьяволиц снова заболит, я прослежу, чтобы она не выздоровела, даже если для этого мне самому придется ее отравить.

4. Жена героя

В течение нескольких дней в Ливенфорде только и разговоров было, что об этом матче. Конечно, в этих краях народ всегда был помешан на футболе. Тут, понятное дело, свои традиции. В старые добрые времена, когда центральные нападающие носили бакенбарды, а вратарские штаны застегивались под коленом, Ливенфорд был командой чемпионов.

То, что они после эпохальных триумфов померкли, скатившись на последние места во Второй лиге, ровным счетом ничего не значило. Ливенфорд все еще оставался Ливенфордом. И вот теперь, в первом круге Кубка Шотландии, они дома сыграли вничью с «Глазго роверс».

У себя дома – с «Глазго роверс», лидером первого дивизиона, лучшей командой страны!

На верфях, на улицах, в магазинах, в каждом заведении, включая бары «У философа» и «У слесаря», – от этого потрясающего события у всех просто мозг выносило.

Совершенно незнакомые люди останавливали друг друга на Кросс.

– Разве нам они по зубам? – с придыханием спрашивал один.

А другой, не скрывая чувств, отвечал:

– А то! Во всяком случае, у нас есть Нед!

Нед Сазерленд и был тем самым, о ком они говорили, – Сазерленд, кумир, чудо, эталон! Сазерленд, герой бессмертного афоризма Бейли Пакстона: «У него в одном мизинце футбола побольше, чем в мозгах у всей команды».

Старый добрый Сазерленд! Неду – ура! Нед был немолод; его возраст трудно было определить – как у женщины. Но знающие люди считали, что Неду под сорок, поскольку, как они мудро отмечали, он начал играть в профессиональный футбол не меньше двадцати лет назад. Только не в Ливенфорде, дорогие, нет и нет!

Блистательная карьера унесла Неда далеко от родного города – сначала в Глазго, где его дебют заставил обезуметь от восторга шестьдесят тысяч болельщиков, потом в Ньюкасл, оттуда в Лидс, потом в Бирмингем. О, Нед был везде и, заметьте, нигде не задерживался надолго, но всегда оставался центром притяжения, всегда кумиром толпы.

А затем, год назад, после короткого перерыва, когда все крупные клубы – нелепее не бывает – проигнорировали его «бесплатный трансфер», он распрекрасно вернулся в Ливенфорд, все еще, по его словам, в расцвете сил, чтобы возродить былую славу родного клуба.

Нельзя отрицать, что о Неде ходили разные слухи, в том числе неллицеприятные, которые являются неизбежной платой за славу.

Сплетничали, например, что Нед не дурак выпить, что Ньюкасл был рад от него избавиться, а Лидс не жалел о его уходе.

Стыд, позор и несправедливость – враки, которые повсюду следовали за ним по пятам.

Что с того, если Неду нравится опрокинуть стопку-другую? После этого он мог играть даже лучше, потому частенько и подогревался.

Что с того, если спонтанной выпивкой весело отмечался неизменный рост его славы? Пусть даже он и был расточительным в своих странствиях, разве при этом он не оставался именитым сыном Ливенфорда?

Долой клеветников! Так говорил Ливенфорд, и потому, когда Нед вернулся, город прижал его к своему сердцу.

Этот Нед был крупным мужчиной, с уже довольно явной лысиной, – бледное гладкое лицо, влажные глаза гуляки и весельчака.

Он не походил на футболиста, скорее на тамаду с городского банкета.

Одевался не без щегольства: опрятный, хорошо вычищенный костюм, неизменно из синей саржи, на мизинце тяжелый перстень с цветным камнем, на цепочке от часов, протяну-

той между верхними карманами жилета, набор завоеванных им медалей; а туфли начищены до блеска с особым тщанием.

Естественно, Нед сам не чистил туфли. Хотя почти все игроки команды Ливенфорда работали на верфи и литейном заводе, Нед, как и подобало его высокому статусу профессионала, не работал вообще. Туфли чистила жена Неда.

И здесь, упомянув миссис Сазерленд, мы подходим к моменту, который всеми трактуется однозначно.

Жаль, ужасно жаль, что жена Неда стала для него такой обузой, таким ярмом – не только жена, но и пятеро его детей. Боже! Разве не тошно оттого, что Нед так рано связал себя, что ему в его знаменитых разъездах пришлось таскать с собой жену и свое все увеличивающееся потомство.

В этом, если хотите, и была причина его заката. Так или иначе все сводилось к женщине, которая была его женой.

Как со знанием дела выразился Бейли Пакстон, сопроводив сказанное многозначительным жестом крайней неприязни: «Кто ей мешал получше следить за собой?»

Очевидный факт заключается в том, что Ливенфорд был довольно плохого мнения о миссис Сазерленд, бедном, безвкусно одетом создании с опущенными глазами. Если когда-то она и была красоткой – господи, почему бы и нет?! – то теперь ей было далеко до красоты.

Неудивительно, что Нед стыдился ее, а особенно в субботние вечера, когда, внезапно появившись из темноты, она маячила перед футбольным полем, дожидаясь его.

Только представьте, она никогда не приходила на сам матч, а просто ждала снаружи, пока Нед не получит деньги за игру. Прислуживать мужу за деньги в его кармане... Господи, разве это не прискорбно?

Надо признать, что кое-кто был на ее стороне. Однажды в заведении «У философа» во время обсуждения данной темы доктор Камерон, которому, как ни странно, нравилась эта женщина, с горечью проронил:

– А как ей не оттаскивать его от пабов, с пятью-то ртами, их же кормить надо. Да поможет ей Бог!

Только ведь этот Камерон всегда был еретиком с самыми странными представлениями о вещах и людях. А популярность Неда, как уже говорилось, была такова, что вздорные мнения отдельных умов для нее ничего не значили.

И правда, по мере приближения дня матча эта популярность стала довольно близка к славе.

Нед становился кем-то вроде бога. Когда он, сунув большие пальцы в проймы жилета, шел по Хай-стрит Ливенфорда, со своей гладкой, добродушной улыбкой, с танцующими на груди медалями, признанный здесь, там, везде, чуть ли не все приветствовали его. На Кросс его окружала толпа – толпа, которая ловила каждое слово, слетавшее с этих гладких, приветливых губ.

Именно на Кросс и произошла памятная встреча с провостом Уиром.

– Ну, Нед, мальчик, – сказал провост, по-свойски, если угодно, протягивая ему руку, – как ты думаешь, у нас получится?

Глаза Неда заблестели. Ничуть не смутившись, он пожал руку провосту и торжественно выдал следующее:

– Если «Роверсы» нас победят, господин провост, то только через мой труп.

Однажды вечером, за неделю до матча, к доктору домой явилась миссис Сазерленд.

Было уже поздно, так что вечерний прием давно закончился. И миссис Сазерленд очень смиренно вошла в кабинет Финлея, который был обязан принимать пациентов в любое время.

– Простите, ради бога, что беспокою вас, доктор, – произнесла она и остановилась, опрятно, но бедно одетая, держа в натруженных руках залатанные перчатки.

Она была хорошенькой, то есть когда-то была. Теперь же в ней было что-то увядшее, напряженное и съездившееся, какая-то странная прозрачность щек и взгляда, что-то такое, что поразило Финлея в самое сердце.

– Глупо с моей стороны было приходить сюда, – сказала она и снова замолчала.

Финлей поставил стул перед своим столом и предложил ей сесть.

Слабой улыбкой она поблагодарила его.

– Это так непохоже на меня. Думать о своей персоне совсем не в моих правилах, доктор. Мне действительно не следовало приходить. Все не могла решиться, так что чуть и вовсе не осталась дома.

Ее неуверенная улыбка... Никогда в жизни он не видел ничего скромнее этой улыбки.

– Но, по правде говоря, мне кажется, что один глаз у меня не видит.

Финлей отложил ручку:

– Вы хотите сказать, что ослепли на один глаз?

Она кивнула и добавила:

– На левый.

Короткое молчание.

– Головные боли бывают? – спросил он.

– Ну... иногда довольно серьезные, – призналась она.

Он, сама любезность, продолжал расспрашивать ее со всей непринужденностью, на какую только был способен. Затем, поднявшись, взял офтальмоскоп и приглушил свет в кабинете, чтобы осмотреть ее глаза.

Ему не сразу удалось увидеть сетчатку. Наконец, приноровившись, он получил отличное изображение. И он невольно напрягся.

Он был в ужасе. Разумеется, он не ждал ничего особо хорошего, но только не этого.

Сетчатка левого глаза была забита пигментом, который мог быть только меланином. Финлей еще раз изучил сетчатку – медленно, осторожно, – и никаких сомнений не осталось.

Он снова включил свет, пытаясь сохранять невозмутимый вид.

– У вас недавно не было ушиба этого глаза? – спросил он, не глядя на нее, но наблюдая за ее отражением в зеркале на каминной полке.

Он видел, как она сильно, болезненно покраснела.

И поспешила ответить:

– Должно быть, это я ударилась о комод. Я поскользнулась, да, в прошлом месяце.

Он ничего не сказал, но постарался сделать более-менее обнадеживающее лицо.

– Я хотел бы, чтобы вас осмотрел доктор Камерон, – наконец заявил он. – Вы не возражаете?

Она устремила на него спокойный взгляд:

– Значит, это что-то плохое.

– Ну, – беспомощно пожал он плечами, – посмотрим, что скажет доктор Камерон. – Он не придумал, что добавить, и, смущенный, боком вышел из комнаты.

Камерон сидел в своем кабинете, шлифуя наждачной бумагой заднюю сторону корпуса скрипки и что-то напевая себе под нос.

– У меня в приемной миссис Сазерленд, – сообщил Финлей.

– Да, – ответил Камерон, не поднимая глаз. – А она была вполне... Я знал ее еще девчушкой, еще до того, как она похоронила себя с этим футбольным пьяницей. Что привело ее сюда?

– По-моему, у нее меланосаркома, – медленно произнес Финлей.

Камерон перестал напевать, потом очень аккуратно отложил скрипку. Его взгляд надолго остановился на лице Финлея.

– Иду, – произнес он, вставая.

Они вместе вошли в приемную.

– Ну, Дженни, девочка, какие новости? – нежно, как с ребенком, заговорил Камерон.

Он осматривал ее глаз даже дольше и скрупулезнее, чем Финлей. Затем оба врача обменялись быстрыми взглядами, подтверждающими диагноз – смертный приговор для Дженни Сазерленд.

Когда она уже стояла в верхней одежде, Камерон взял ее за руку:

– Значит, так, Дженни, хорошо, если твой муженек заглянет утром к нам с Финлеем.

Она посмотрела ему прямо в глаза с той удивительной проницательностью, которая свойственна женщинам, знавшим жизнь далеко не с лучшей стороны.

– Со мной что-то серьезное, доктор?

Повисла тишина.

Во всем облике Камерона, в его голосе была сама человечность, когда он ответил:

– Что-то очень серьезное, Дженни.

Теперь, как ни странно, она выглядела спокойнее, чем он.

– И что это значит, доктор?

Но Камерон, несмотря на все свое мужество, не мог сказать всей жестокой правды.

Как он мог сказать Дженни, что над ней навис рок, что она поражена самой страшной болезнью из всех известных, то есть не имеющей аналогов злокачественной опухолью, которая, поражая глаз, распространяется, как пламя, по всему телу, разрушая, разлагая, уничтожая! Никакой надежды, никакого лечения – не остается ничего, кроме как встретить неминуемую и немедленную смерть!

Самое меньшее – шесть дней, самое большее – шесть недель, столько оставалось жить Дженни Сазерленд.

– Тебе придется лечь в больницу, девочка, – помедлив, сказал он.

На что она быстро ответила:

– Я не могу оставить детей. И Нед... у него важный матч... это же расстроит его, о, это ужасно его расстроит! Это вообще никуда не годится. – Она помолчала. – Может, я подожду до окончания матча?

– Ну да, Дженни, если хочешь, можешь подождать.

Вглядываясь в его полное сочувствия лицо, она вдруг осознала всю значимость этих слов. Она сильно прикусила губу. И, помолчав, ответила, с трудом подбирая слова:

– Понимаю, доктор, теперь понимаю. Вы хотите сказать, что в любом случае это не имеет большого значения?

Он опустил глаза. Она обо всем догадалась.

Утро великого поединка выдалось туманным, но еще до наступления полудня великолепное солнце пробилось сквозь туман. Город, напрягшийся от страшного волнения, был тих.

Уже в одиннадцать часов, опасаясь остаться без места, к парку потянулись люди. Не Нед, конечно! Нед лежал в постели, как всегда набираясь сил перед матчем. Вообще, у него был особенный распорядок дня, у Неда, и этот день был еще более особенным.

В десять Дженни принесла ему завтрак на большом подносе: кашу, два вареных яйца и великолепную овсяную лепешку, испеченную ею. Затем она отправилась на кухню, чтобы сварить особый мясной бульон, который вместе с двумя ломтиками тоста составлял его ланч в игровые дни.

Когда она стояла у плиты, до нее донесся капризный голос Неда:

– Принеси-ка еще одно яйцо заодно с супом. Думаю, оно будет мне не лишним.

Услышав эти слова, она в отчаянии прижала ладонь ко рту, затем с виноватым видом вошла в спальню:

– Прости меня, Нед! Сегодня утром я отдала тебе последнее яйцо в доме.

Он уставился на нее:

– Тогда пошли еще за одним.

– Если ты дашь денег, Нед.

– Деньги! Боже! Всегда эти деньги! Разве нельзя получить в кредит?

Она медленно покачала головой:

– Ты же знаешь, что с этим давно покончено.

– Боже мой! – взорвался он. – Но ты же отличная хозяйка. Хорошенькое дело, если меня отправляют голодным на поле. Ну тогда быстро принеси мой суп и побольше тостов. Поторопись, а то не успеешь меня растереть. И ради всего святого, успокой своих паршивцев. Сегодня утром от их криков я чуть не оглох.

Она молча вернулась на кухню и предостерегающим жестом утихомирила двух маленьких детей. Остальные встали довольно рано и, чтобы не мешать отцу, были отправлены играть на лужайке.

Потом она принесла суп и стояла у кровати, пока Нед шумно хлебал из тарелки. После очередного глотка он угрюмо посмотрел на нее:

– Ну что это ты у меня такая хмурая – от такой физиономии и француз дрогнет? Видит Бог, последние четыре дня от тебя ни одной улыбки.

Она изобразила улыбку – смутную, неуверенную пародию на улыбку.

– По правде говоря, Нед, в последнее время я чувствую себя не очень хорошо.

– Ага! Давай жалуйся, когда у меня на носу кубковый матч. Проклятье! Как тут с ума не сойти, когда ты все стонешь да охаешь.

– Я не жалуюсь, Нед, – поспешно сказала она.

– Тогда иди возьми мазь и натри мужа.

Лежа на спине, он вытянул мускулистую ногу. Дженни принесла мазь и начала привычное растирание.

– Сильнее! Сильнее! – настаивал он. – Напрягись хоть немножко. Чтобы мазь впиталась.

От слабости всю ее прошиб пот, и ей стоило огромных усилий закончить эту процедуру. Наконец он хмыкнул:

– Хватит, хватит. Хотя толку от этого было мало. А теперь принеси воды для бритья да проследи, чтобы она прокипела.

Он встал, побрился, тщательно оделся. Раздался звонок в дверь.

– Это Бейли Пакстон, – сообщила она. – Он готов отвезти тебя на матч в своем кабриолете.

Улыбка признательности медленно скользнула по лицу Неда.

– Хорошо, – сказал он. – Скажи ему, что я сейчас выйду.

Прислонившись к каминной полке, она смотрела, как он снимает с вешалки кепку. На ее лице были печаль и странная тоска.

– Надеюсь, ты хорошо сыграешь, Нед, – пробормотала она.

Сколько раз и где только она не произносила эти слова. Но никогда, никогда еще они не звучали так, как сейчас.

Он коротко кивнул и вышел.

Матч начался в половине третьего, и задолго до этого часа парк был забит до отказа. Сотням не удалось оказаться возле футбольного поля, сотни других прорвались через ограждение и уселись у боковой линии.

В центре поля гремел городской оркестр, на ветру весело хлопал флаг, толпа кипела от сдерживаемого возбуждения.

Затем на поле вышли «Роверсы» в своей очень нарядной ярко-синей форме.

Поднялся рев, потому что из Глазго прибыло два поезда их болельщиков. Но разве мог с ним сравниться рев, расколовший воздух, когда Нед вывел из павильона свою команду? Говорили, что этот рев был слышен в Овертоне, в добрых двух милях отсюда.

Бросили монету – Нед выиграл жеребьевку.

Толпа снова взревела, а затем настала мертвая тишина, когда «Роверсы» ввели мяч в игру. Наконец-то он начался – великий памятный матч.

«Роверсы» сразу же пошли в атаку.

Они играли умно – играли в футбол такого класса, что сердца местных болельщиков то и дело замирали. «Роверсы» были быстры, они прекрасно владели мячом, пасуя его с края на край с убийственной точностью.

Мало того, «Ливенфорд» нервничал и никак не мог собраться, выступая намного ниже своих возможностей, в смятении посылая мяч куда попало.

Только не Нед!

О, Нед был великолепен! Он занимал позицию центрального полузащитника, но сегодня он был везде – опорой, костяком команды.

Нед не был быстр, он никогда не был быстр, но его умение предвосхищать игровую ситуацию вполне компенсировало это – и даже с лихвой.

Раз за разом он выручал свою команду, ослабляя давление на ливенфордские ворота каким-нибудь хитрым движением, обходным маневром, коротким пасом или мощным ударом по средней линии.

Нед был лучшим на поле, великим, прирожденным футболистом. Он – этот лысеющий гладиатор в шортах – был на голову выше всех остальных игроков числом двадцать один.

Конечно, это должно было случиться – ну не может один человек остановить эту дьявольскую атаку соперника.

Еще до свистка на перерыв «Роверсы» открыли счет. Нед не виноват. Промаш правого защитника «Ливенфорда» – и быстрый как мысль левый нападающий «Роверсов» бросился на вращающийся мяч и направил его в сетку ворот.

Болельщики «Ливенфорда» помрачнели. Если бы счет оставался ноль-ноль, то на второй тайм их команда могла выйти более уверенной в своих силах. А теперь, увы, гол пропущен, и ветер против них, – даже оптимисты признавали, что ничего хорошего команде не светит.

Оставался только один шанс, одна надежда – Нед с его решительной фразой: «Если „Роверсы“ нас победят, то только через мой труп».

Начался второй тайм, и теперь стали возникать и драгоценные моменты для взятия ворот соперника. «Ливенфорд» показывал более организованную игру, быстро добился подачи двух угловых подряд. Во время атаки на свои ворота команда сплывала, а затем бросалась с мячом вперед навстречу ветру. Но «Роверсы» держались и не уступали.

Правда, они уже были не так агрессивны, как вначале. Играя на маленьком поле вдали от дома, они по ходу матча несколько угасли, и казалось, что их вполне устраивает преимущество в один гол.

Почувствовав, что гости предпочитают оборону, толпа взревела, подбадривая своих любимцев.

Великолепное безумие наполнило воздух и передалось от болельщиков игрокам «Ливенфорда». Они бросились вперед. Они яростно напирали, кружа пчелиным роем возле ворот «Роверсов». Но все равно не могли забить.

Еще один угловой, и Нед, красиво приняв мяч, попал им в перекладину. Раздался общий стон, в котором смешались экстаз и отчаяние.

День уже угасал, время быстро шло к финальному свистку – оставалось двадцать, десять, наконец, всего пять минут.

Над вопящей толпой нависло горькое разочарование, медленно оседающее вниз. В воздухе витал призрак поражения – жалкого и безнадёжного.

А затем Нед Сазерленд получил мяч в середине поля. Не передавая его, он двинулся вперед, с невероятной ловкостью прокладывая себе путь сквозь заслон соперников.

– Пасуй, Нед, пасуй! – кричала толпа, надеясь увидеть, как он откроет фланги.

Но Нед не пасовал. С мячом в ногах, опустив голову, он продолжал, как бык, таранить соперника.

И тогда толпа взревела по-настоящему – они поняли, что Нед атакует в одиночку.

Левый защитник «Роверсов» тоже это понял. Когда Нед оказался в штрафной и был готов пробить по воротам, противник прыгнул в подкате на него. Нед упал с глухим душераздирающим стуком, и из десяти тысяч глоток вырвался неистовый вопль:

– Пенальти! Пенальти! Пенальти!

Судья без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку.

Несмотря на протесты игрока «Глазго роверс», судья дал – да! – дал «Ливенфорду» право на пенальти!

Нед встал. Он не пострадал. Эта искусная имитация страшной травмы была неотъемлемой частью его мастерства. А теперь он сам исполнит пенальти.

Когда Нед поставил мяч на отметку, воцарилась мертвая тишина. Он был хладнокровен, отрешен и как будто не чувствовал этой мучительной тревоги ожидания толпы. Все затаили дыхание, когда он постучал носком бутсы по траве, примерился долгим взглядом к воротам и сделал три быстрых шага вперед.

А затем – бах! Мяч оказался в сетке.

– Гол! – восторженно закричали зрители, и в тот же миг раздался свисток – время игры вышло.

«Ливенфорд» вырвал ничью. Нед спас матч.

Началось столпотворение. Шляпы, трости, зонтики, само собой, полетели вверх. Крики, рев, исступленный визг – толпа ринулась на поле.

Неда подхватили на руки, подняли над головами и торжественно унесли в павильон.

В эти минуты миссис Сазерленд сидела на кухне безмолвного дома. Она страшно хотела сходить в парк за Недом, но ей было не под силу даже надеть пальто, так что намерения ее были тщетны.

Подперев щеку рукой, она смотрела перед собой в никуда. Конечно, Нед сегодня же вернется домой, конечно, он не сможет не заметить тень смертной печали на ее лице.

Ей до отчаяния хотелось облегчить душу – все ему рассказать. Она поклялась себе молчать до окончания матча. Но теперь она должна ему рассказать.

Этот ужас невозможно было вынести в одиночку!

Она знала, что умирает. Даже за те несколько дней, что прошли после осмотра у Финлея, она стремительно ослабела – у нее болело в боку, а зрение ухудшилось.

Прошел час, а Неда все не было. Она вышла из оцепенения, встала, чтобы уложить спать двух младших детей, затем снова опустилась на стул. А Неда все не было. Старшие дети вернулись в дом, и от них она узнала результат матча.

Пробило восемь часов, потом девять. Теперь даже самый старший лежал в постели. Она чувствовала себя ужасно больной; ей казалось, что она умирает.

Ужин, который она приготовила для Неда, пропал, огонь погас, так как закончился уголь. В отчаянии она встала и с трудом дошла до постели.

Было почти двенадцать, когда он появился.

Она не спала – боль в боку была слишком сильной – и поэтому слышала медленные, нетвердые шаги, а затем громкий хлопок двери.

Нед был, как обычно, пьян, нет, гораздо сильнее, чем обычно, потому что сегодня вечером, набравшись до предела, он намного превысил свою обычную дозу.

Он вошел в спальню и включил керосиновую лампу.

Разгоряченный виски, восторгами в свой адрес, своим триумфом и сознанием собственного запредельного мастерства, он посмотрел на нее, лежащую на постели, затем, все еще глядя на нее, прислонился к стене, снял туфли и бросил их на пол.

Ему хотелось сказать ей, какой он замечательный и какой великолепный гол он забил.

Ему хотелось повторить ту свою блистательную, поистине историческую фразу, что-де если «Роверсы» победят, то только через его труп.

Он попытался произнести эти слова. Но, конечно, все перепутал. Вот что у него получилось:

– Я собираюсь... собираюсь... победить... через твой труп.

После чего он весело рассмеялся.

5. Неверное решение

Хотя поэты и заверяют нас, что человек – хозяин своей судьбы, а герои романов, однажды стиснув зубы, угрюмо идут до конца, добиваясь своей цели, на самом деле так не бывает.

Жизнь высмеивает даже тех джентльменов, которые умеют великолепно скрежетать коренными зубами и почти всегда, несмотря на утверждение поэта об обратном, склоняют свою буйную головушку перед лицом реальности.

Как было бы приятно представить Финлея в лучших викторианских традициях – сильным и молчаливым доктором, который, какие бы ни давал обещания, непременно их выполнял. Но Финлей был всего лишь человеком. Финлею приходилось считаться с обстоятельствами не меньше, чем нам и вам. И подчас эти обстоятельства сводили на нет его самые прекраснотушные решения.

Однажды, спустя несколько месяцев после приезда в Ливенфорд, он сидел в приемной и ничем не был занят. На самом деле он даже радовался, что ничем не занят, потому что его утренний обход был трудным, а ланч плотным и поздним.

Засунув руки в карманы и вытянув ноги, он откинулся на спинку стула, чувствуя, как усыпляющий эффект приготовленных Джанет клецек с салом благотворно сказывается на его самочувствие.

Его глаза только что закрылись, он дважды клюнул носом, когда в прихожей раздался резкий звонок и в приемную ворвался Чарли Белл и без всяких церемоний воскликнул:

– Мне нужна мамина бутылка!

На самом деле Чарли высказался иначе – на грубейшем ливенфордском диалекте это прозвучало примерно так: «Ме нуна моми будыка».

Но фонетика Чарли не поддается внятной интерпретации, и, к бесконечному моему сожалению, здесь придется от нее отказаться в пользу более нормальной речи.

Финлей досадливо вздрогнул – отчасти из-за того, что его потревожили, отчасти из-за того, что был уверен, что запер боковую дверь приемной, но в основном из-за грубых манер Чарли Белла.

Он сухо ответил:

– Сейчас приемная закрыта.

– Тогда что ж ты оставляешь дверь открытой? – раздраженно возразил Чарли.

– Забудь про дверь. Повторяю: приемная закрыта. Приходи сегодня вечером.

– Приходить! Мне! – презрительно усмехнулся Чарли. – Ни разу не приду, шоб я сдох.

Финлей пристально посмотрел на Чарли, коренастого крепыша лет двадцати пяти, широкоплечего, с коротко стриженными кирпично-рыжими волосами, бледным жестким лицом и маленькими насмешливыми глазками.

На его круглой башке красовалась, сдвинутая далеко на затылок, кепка, известная в округе под названием «шлюшка», которую он не потрудился снять, а на его короткой шее был небрежно завязан ярко-красный шарф.

Вид у Чарли был совершенно беззаботный; с самого раннего детства ему, этому Чарли, было на всех и вся наплевать. Мальчишкой он прогуливал уроки, его пороли, и он снова весело их прогуливал.

Он никому не давал покоя, разбивал окна, был вожаком банды юнцов, часто тонул, в основном когда купался в реке Ливен.

Если на главной улице Ливенфорда появлялся незнакомец, можно было не сомневаться, что бесцеремонный Чарли первым поднимет хай: «Гляди, какая шляпа!» – или, там, какие ботинки, или какое лицо – в зависимости от обстоятельств.

Он верховодил во всех играх, начиная с футбола, когда гоняли консервную банку в канаве, и кончая дракой – о, тут ему не было равных!

Исключение из школы, когда оно неизбежно случалось, становилось для него сплошным наслаждением. Потом Чарли стал во дворе играть с заклепками: накалял их докрасна и бросал вверх, дабы они падали на головы окружающих, – не забывая время от времени швырять их в кого-нибудь из своих приятелей: когда у тех загорался, допустим, карман – как же это было смешно!

Разумеется, это было много лет назад. Теперь Чарли сам был клепальщиком, признанным лидером шайки, слонявшейся по набережной, владельцем уипета, суки по имени Нелли, правильным парнем, которого все свои звали Ча, более жестким, чем заклепки, которые он всаживал в железные корпуса кораблей.

И сейчас, закипая под пристальным взглядом Финлея, Ча набылчился, наклонив голову:

– Смотри на меня! Давай смотри на меня! Ты слышал, что я сказал? Я попросил тебя приготовить пузырек с лекарством для моей матери.

– Он готов, – жестко ответил Финлей и мотнул головой через плечо в сторону полки. – Но сейчас ты его не получишь. Это против наших правил. Заходи, когда положено.

– В самом деле? – тяжело задышав, спросил Ча.

– Да! – вспыхнул Финлей. – В самом деле. А когда придешь в следующий раз, постарайся чуток поправить свои манеры. Например, попробуй снять кепку...

– Ни хрена себе! – нагло рассмеялся Ча. – А если, допустим, не сниму?

Финлей медленно поднялся. Он весь пылал.

Не торопясь, он приблизился к Ча.

– В таком случае нам придется тебя этому научить! – ответил он срывающимся от гнева голосом.

– А ну-ка заткнись! – без обиняков выдал Ча. Он перестал смеяться и на своем вырубленном топором лице изобразил воинственную усмешку. – Считаешь, *ты* сможешь меня чему-то научить?

– Да! – крикнул Финлей и, сжав кулаки, бросился на Ча.

Далее, по всем этическим правилам беллетристики, должна была иметь место грандиозная драка – великолепная схватка, в которой Финлей – герой – в конце концов нокаутирует Ча – злодея, – загнав в угол ринга.

На деле же получилось совсем иначе. Последовал лишь один удар – один-единственный несчастный удар.

После чего, спустя две минуты, Финлей очнулся на полу, в сидячем положении, спиной к стене. Его слегка подташнивало, болела голова, из уголка рта по-дурацки сочилась кровь.

В это же время Ча, с лекарством для матери в кармане и с еще более лихо надвинутой на рыжий затылок кепкой, весело насвистывая, шагал посередине Черч-стрит.

Финлей долго сидел на полу, потом, чувствуя звон в голове и слабость, поднялся. Внутри у него были тьма и горечь, как от желчи.

Его жгло от воспоминания о дерзости Ча, он злился на себя, на то, что оказался абсолютно несостоятельным. Он был молод, силен, жаждал набить физиономию этому уроду Ча, а получилось, что... Он застонал от своего мучительного унижения.

Умывшись над раковиной, он принялся дотошно разбирать, что же произошло на самом деле. Было очевидно, что Ча умеет боксировать, тогда как он сам в боксе полный ноль. Он никогда даже не думал о подобном бое, никогда не сталкивался с такой ситуацией. А сам полез в драку, как невинный агнец, и напоролся на этот дьявольский удар Ча.

Ча! Как он ненавидел его – эту наглую свинью! Надо было что-то сделать – что-то обязательно сделать. Невозможно было жить дальше, не ответив на такое оскорбление.

И он дал себе страшную клятву, после чего почувствовал себя лучше.

Закончив вытирать лицо, он нахмурил брови и сел за стол, чтобы хорошенько подумать. Результатом этого глубокого самоанализа стало знакомство Финлея с сержантом А. П. Голтом.

Арчи Голт был на «казарменном положении». Действительно, этот во всех отношениях достойный сержант жил в казарме, с годами ничуть не старея, насколько помнило большинство горожан.

Высокий, поджарый, со впалыми щеками и навощенными усами, в тесных брюках и с грудью призового голубя, Арчи Голт совмещал обязанности сержанта-вербовщика и инструктора по строевой подготовке добровольцев.

Физическая форма была его фетишем; все его тело было покрыто мускулами, которые как по команде вспучивались бильярдными шарами в самых неожиданных местах.

И у него были медали – медали борца, фехтовальщика, боксера... И правда, ходили слухи, что в свое время Арчи стал вице-чемпионом среди армейских тяжеловесов.

Слухи слухами, а факт остается фактом: Арчи действительно умел боксировать.

В тот первый день в большом, продуваемом сквозняками тренировочном зале он нанес Финлею немало сильных ударов – не так, разумеется, как Ча, а спокойно, взвешенно. От этих ударов вздрагивало, дребезжало и сотрясалось все вокруг – каждый из них, прекрасно выверенный, вложись в него полностью наш доблестный сержант, отправил бы Финлея в лишенное всякого достоинства беспамятство.

И в конце концов Голт с печальным видом снял свои огромные перчатки.

– Ничего хорошего, сэр, – откровенно заметил он на своем местном говоре, с которым не шли ни в какое сравнение диалекты Африки, Индии и самого Судана. – Уж лучше занимайтесь своим делом – лечите. А тут вы ничего не смыслите.

– Я могу научиться, – отдуваясь, проронил Финлей. Пот струился по его лицу; предпоследний удар попал ему в живот, сбив дыхание. – Я должен научиться. У меня есть причина...

– Хм! – отозвался Арчи, с сомнением покручивая навощенные усы.

– Это мой первый урок, – стоял на своем Финлей, хватая ртом воздух. – Я останусь. Я буду очень стараться. Я буду приходить каждый день.

Тень улыбки скользнула по бесстрастному лицу Арчи и тут же исчезла.

– Вы не из пугливых, – уклончиво ответил он. – А это уже кое-что.

Так начались тренировки.

Финлей прекратил свои обычные вечерние прогулки на Леа-Брэ. Вместо этого он стал посещать учебный манеж – тихо входил через черный ход после наступления темноты и быстро натягивал на себя свитер и шорты.

Затем он вставал напротив сержанта, постигая тайны удара прямой левой, кроссом, встречным, хуком, обучаясь финтам, умению включать ноги, голову – постигая все, чему мог научить его сержант.

Финлей получал ужасные удары. Чем больше он узнавал, тем сильнее бил его Арчи. Финлей обнаружил, насколько он слаб и уязвим, – он, Финлей, который всегда гордился тем, что так крепок.

Он прошел потрясающую подготовку. Рано вставал, делал пробежку и принимал перед завтраком холодную ванну. Без малейшего сожаления он исключил из своего рациона восхитительное печенье, которое пекла Джанет.

Совершенно сознательно, всем чертям назло, он решил сделать из себя кремень.

Камерон, конечно, что-то почувал. Его взгляд, пронизательный и едкий, часто задерживался на Финлее, когда тот отказывался от какого-нибудь блюда за столом или спускался утром из спальни со слегка распухшим ухом. Но Камерон ничего не сказал, хотя раз или два едва сдержал улыбку. Он обладал даром молчания.

К концу первого месяца Финлей уже хорошо боксировал, а к концу третьего его успехи стали поистине необычайными. В конце мая он уже начал атаковать и однажды вечером, проведя с Арчи шесть быстрых трехминутных раундов, закончил потрясающим убойным ударом в челюсть, от которого сержант пошатнулся.

– Для начала достаточно, – решительно сказал Арчи, снимая перчатки. – Я не допущу, чтобы меня отколошматил парень вдвое моложе меня.

– О чем ты болтаешь? – удивленно спросил Финлей, упершись перчатками в бока.

Арчи сделал глоток из бутылки с водой и профессионально выплюнул ее уголком рта. Затем он позволил себе удовлетворенно хмыкнуть:

– Я имею в виду вот что, сэр. Я научил тебя всему, чему мог. – Он широко улыбнулся. – Тебе давно пора найти кого-нибудь своего возраста, чтобы отделать его.

– Значит, я не так уж плох?

– Ты хорош! Парень, ты чертовски хорош! Последние две недели ты просто огонь. Я бы сказал, что у тебя задатки отличного бойца. – Он помолчал, потом с неожиданным для него любопытством продолжил: – Теперь, когда мы, насколько я понимаю, хорошенько познакомились, может, ты все-таки кое о чем расскажешь мне. На что ты там намекал, если, конечно, ты можешь ответить на такой вопрос?

Финлей помолчал с минуту, потом рассказал Арчи о Ча. И снова на суровом лице сержанта неторопливо обозначилась усмешка.

– Белл, – констатировал он. – Я хорошо его знаю, этого хулигана с бычьей шеей. Он нокаутер, каких мало. Но теперь ты с ним разберешься. Ты преподашь ему урок, в котором он давно нуждается.

– Ты действительно так думаешь, Арчи?

– Черт подери, я в этом уверен! Я не говорю, что это будет легко. Но я не хотел бы оказаться на месте Ча Белла, когда ты будешь с ним разбираться.

В тот вечер, когда Финлей вернулся домой, в его глазах сверкала решимость встретиться с Ча. Пока он тренировался все эти недели, ему каким-то образом удавалось не думать о Ча, но теперь, когда он знал, что готов к схватке, в нем снова вскипела черная ярость.

Воспоминание о том, что случилось в приемной, стало еще болезненнее. А когда Финлею изредка случалось сталкиваться в городе с Ча, с дерзким взглядом этого наглеца, так что приходилось напускать на себя отстраненный вид, или когда раздавался вслед крик и издевательский смех Ча, чувство унижения с новой силой обрушивалось на молодого доктора и становилось непереносимым.

Шагая по подъездной дорожке к Арден-Хаусу, он гневно твердил про себя: «Я заставлю его заплатить. Теперь он вернет мне должок. Больше я не буду ждать ни дня. Я достаточно долго терпел. Теперь мы будем квиты».

В таком настроении он вошел в холл и там, как ни странно, на грифельной доске, специально для этой цели висевшей, нашел вызов от миссис Белл, жившей в маленьком домике на пристани.

Отчасти странно, но не необычно, поскольку миссис Белл была в некотором роде ипохондриком, и раз в месяц или около того Финлей был вынужден посещать ее и успокаивать по поводу появления какой-нибудь неясной боли или непонятного симптома.

Это его устраивало как нельзя лучше. Завтра, то бишь в субботу, он навестит старушку, выпишет ей лекарство и вежливо сообщит, что Ча должен зайти в приемную за лекарством после обеда.

Одни и те же обстоятельства, одно и то же время, одно и то же место – но насколько иным будет результат! Финлей крепко сжал челюсти. «Я выдам ему лекарство, – мстительно подумал он, – я выдам ему такую дозу, что он навсегда это запомнит».

На следующий день, закончив утренние консультации, Финлей направился прямо на пристань к дому номер 3. Это был покосившийся, односкатный старый домишко, притулившийся на берегу реки за «Слоном и замком», – он слегка выпирал из бестолкового ряда прочих строений, как будто выпихнутый соседями.

Миссис Белл встретила его в дверях, ее пухлое круглое лицо озабоченно хмурилось.

– О, доктор, доктор, – с укором заговорила она, – я хотела, чтобы вы пришли вчера вечером, а не сегодня утром. Почему же вы не пришли, когда я вас позвала? Я очень волновалась всю эту долгую ночь.

– Не волнуйтесь, миссис Белл, мы сейчас приведем вас в порядок, – ободрил он ее.

– Но это не я, – простонала она. – Это вовсе не я. Это Ча!

Ча... Выражение лица Финлея стало совсем другим, когда он под грузом самых разных мыслей последовал за ней по узкой деревянной лестнице в маленькую чердачную комнату, без ковра на полу.

Там, на обшарпанной кровати-раскладушке, в несвежей рубашке и знаменитом шарфе, со спортивной газетой с одного боку и пачкой дешевых сигарет с другого, лежал Чарли.

Он насмешливо поздоровался с Финлеем:

– Чего тебе надо? Старьевщик принимает только по вторникам.

– Тише, Ча, тише! – взмолилась миссис Белл. – И покажи доктору свою руку. – Затем повернулась к Финлею. – Он на работе порезался, доктор, в конце прошлой недели. Но рука начала распухать и, боже мой, теперь похожа на что-то страшное.

– Моя рука в порядке! – отрезал Ча. – Я не хочу, чтобы какой-то там фуфловый докторишка ее осматривал.

– О, Ча! О, Ча! – простонала миссис Белл. – Лучше попридержи свой ужасный язык!

Финлей стоял с окаменевшим лицом, пытаясь сдерживать гнев, и наконец через силу выговорил:

– Полагаю, ты все же покажешь мне руку.

– О, какого черта! – запротестовал Ча, но все же извлек руку из-под лоскутного покрывала, причем с таким трудом, будто она была из свинца.

Финлей посмотрел на нее, и его глаза расширились от удивления. От запястья до локтя рука чудовищно опухла и покраснела – в диагнозе не было ни малейшего сомнения. У Ча была флегмона – острое гнойное воспаление подкожной клетчатки.

Сведя все свои эмоции к чисто профессиональным, Финлей приступил к осмотру. Он измерил температуру Ча. Когда он ловко сунул термометр в рот пациента, Ча заметил:

– Ты что, за страуса меня принимаешь?

Однако, при всем притворном хладнокровии Ча, температура тела у него была 103,5 градуса по Фаренгейту⁵.

– Головная боль есть?

– Не-а, – соврал Ча. – И не надейся, что ты мне ее подаришь.

Помолчав, Финлей взглянул на миссис Белл.

– Мне придется дать ему понюхать хлороформ и разрезать руку, – бесстрастно заявил он.

– Ни за что на свете, – сказал Ча. – Никакого хлороформа. Если ты собираешься резать меня, то можешь и просто так это сделать.

– Но боль...

– Ой! Какого черта! – презрительно перебил его Ча. – Ты прекрасно знаешь, что хочешь сделать мне больно. Давай попробуй заставить меня визжать. Теперь у тебя есть шанс хоть чуток отомстить.

Кровь бросилась Финлею в лицо.

⁵ Около 39,7 градуса по Цельсию.

– Это ложь, и ты это знаешь. Просто подожди. Сейчас я тебе помогу. А потом преподам урок, который ты никогда не забудешь.

Он резко отвернулся и, открыв саквояж, стал готовить инструменты к операции. В ответ Ча начал насмешливо насвистывать «Голубые колокола Шотландии».

Но вскоре Ча умолк, как бы ни хотелось ему продолжить.

Когда тебе вскрывают такой огромный гнойник без анестезии – это дико больно.

Он оцепенел, а лицо стало грязно-серого цвета, когда Финлей сделал два быстрых глубоких надреза, а затем начал выдавливать гной.

Гноя было очень мало, плохой признак – из дренажных отверстий сочилась лишь какая-то темная серозная жидкость, хотя Финлей изучал ее чуть ли не с болезненной скрупулезностью, прежде чем наложить на рану марлю, пропитанную йодоформом.

Когда он закончил, Ча вытащил из-за уха окурок сигареты, закурил и сурово посмотрел на свою забинтованную руку.

– Ты сделал из нее просто отличный фарш! – усмехнулся он. – Но чего еще мы могли ожидать?

Затем, с сигаретой в руке, он потерял сознание.

Разумеется, он вскоре пришел в себя, но был далеко не в лучшей форме. В тот же день, зайдя еще раз, чтобы проверить состояние пациента, Финлей застал его в тисках септической лихорадки. Началось заражение крови. Ча был в бреду; температура 105, пульс 140 – ситуация довольно серьезная, – но миссис Белл решительно воспротивилась его отправке в больницу.

– Ча этого не позволит! Ча этого не позволит! – повторяла она, ломая руки. – Он хороший сын, несмотря на всю свою грубость. Я не пойду против него теперь, когда ему плохо.

Так что вся ответственность за этот случай легла на Финлея.

Целую неделю он боролся за жизнь Ча. Он ненавидел Ча – и все же чувствовал, что должен спасти его. Три раза в день он приходил в дом на пристани и тщательнейшим образом перевязывал его руку; он специально посылал к Стирроку в Глазго за неким новым антитоксиком; он даже заходил к Пакстону на Хай-стрит и заказывал правильную еду – все только для того, чтобы помочь Ча выжить.

Это был не труд любви, можете не сомневаться. За неимением подходящего выражения назовите это трудом ненависти.

Наконец, после ужасной недели, у Ча на восьмой день наступил кризис. Сидя поздним вечером у постели Ча, Финлей ждал признаков того, что Ча пойдет на поправку. И действительно, ближе к полуночи Ча пошевелился и открыл запавшие глаза, – исхудавший и небритый, он уставился на Финлея. Ча смотрел и смотрел, а потом усмехнулся, едва двигая бледными губами:

– Вот видишь, мне становится лучше, в пику тебе.

Затем он заснул. По мере выздоровления Ча снова обретал наглость. Чем крепче он становился, тем возмутительнее себя вел.

– Я думал, ты отрежешь мне руку, чтобы было легче меня поколотить! – Или: – Думаю, ты бы меня прикончил, если бы у тебя хватило смелости на это!

Нет, Финлей вовсе не собирался терпеть все это – отнюдь! Никакого стоицизма с его стороны! Когда Ча был уже вне опасности, Финлей отбросил все свое профессиональное достоинство и позволил себе полностью расслабиться. И, отпустив вожжи, они со всей страстью принялись безжалостно оскорблять друг друга – молодой клепалыщик и молодой доктор, – пока миссис Белл, в ужасе зажав уши руками, не выбежала из комнаты.

Наконец, когда Ча был уже на ногах и собирался отбыть на месяц в Ардбег-Хоум, Финлей демонстративно отвел его в сторону:

– Твое лечение закончилось. Тебе уже лучше. Ты поедешь на море набираться сил. Ну что ж, когда ты вернешься абсолютно здоровым, загляни ко мне в приемную. Я дам тебе то, о чем ты и не подозреваешь.

– Отлично! – вызывающе кивнул Ча. – Это меня вполне устраивает.

Четыре недели тянулись медленно. В самом деле, они тянулись слишком уж медленно.

Финлей считал дни. Он так ненавидел Ча, что скучал по нему. Да, он действительно скучал.

Жизнь была довольно бесцветной без презрительной усмешки Ча и его дерзкого, язвительного языка. Но в конце концов, в последнюю субботу месяца, Ча вернулся и ворвался в приемную, загорелый, коренастый, подтянутый и такой же сильный и насмешливый, как и прежде.

Он подошел к Финлею. Они смерили друг друга взглядом. Последовала пауза. Но то, что произошло дальше, было ужасно – настолько ужасно, что едва можно выразить словами.

Финлей посмотрел на Ча. И Ча посмотрел на Финлея.

Они смущенно улыбнулись друг другу, а затем обменялись дружеским рукопожатием.

6. Потерянная память Коротышки Робисона

Если бы вечер пятницы не был таким чудесным и располагающим к прогулке, Финлей легко отложил бы до утра визит к Робертсонам на Барлоан-толл.

Он подозревал что-то тривиальное, поскольку Сара Робертсон была такой заполошенной. Крупная, грудастая, неповоротливая женщина с некрасивым плоским лицом и золотым сердцем, она вечно полошилась по поводу своей старшей дочери Маргарет и своего коротышки-мужа Роберта, пока Роберт наконец не перестал считать свою душу своей.

Она проветривала его фланелевые штаны, вязала ему носки, провожала в церковь, выбирала галстуки на распродаже, строго следила за его диетой («Нет-нет, Роберт, тебе, может, и нравится этот творог, но ты же знаешь, дорогой, что от него у тебя всегда запор. Фу-фу, забери тарелку у отца, Маргарет!»).

В ближнем кругу друзей на Барлоан-толл она по праву считалась образцом.

– Наш брак – самый счастливый на свете! – часто восклицала она, поджимая губы и восторженно закатывая глаза.

Она была самой лучшей из всех преданных жен. Или самой худшей.

Но сколько бы ни способствовала собственническая любовь Сары ее авторитету, недоброжелателей в Ливенфорде – а их было, пожалуй, не много – отчасти забавляло то, что Роберт ходит с жениным хомутом на шее.

– Он затюканный женой маленький дьявол, – заявил однажды в клубе Гордон.

И Пакстон, усмехнувшись, согласился:

– Да, это она носит мужские портки.

Хотя Роберт и преподавал в гимназии, он не числился в членах клуба. Ему было любезно сказано, что курение и выпивка – это не для него – нет и нет!

На самом деле невероятно, сколько разных вещей не подходило Роберту. Казалось, он почти нигде не бывал: ни на футбольных матчах, ни в боулинге, ни в Глазго с другими учителями, ни в театре.

Это был маленький, кроткий, непритязательный человек лет сорока четырех, довольно сутулый и молчаливый вне школы. У него были глаза как у собаки, карие, беспокойные, а также прекрасный тенор. В классе его ласково называли Коротышка Робисон.

На голос Роберта, по-видимому, был спрос, так как Сара, его законная жена, всегда заставляла мужа петь, когда у них бывали гости, и, благодаря более внушительному, чем его собственный, авторитету Сары, он год за годом имел особую честь – иначе это и не назовешь – разучивать с детьми приходской церкви разные песнопения, в том числе и псалмы, которые регулярно исполнялись на Рождество.

Таков был Коротышка Робисон, и все это промелькнуло в голове Финлея, когда он направлялся к Барлоан-толл, уже различая в вечернем аромате, разлитом вокруг, сладкое дыхание раннего лета.

Он позвонил в дверь дома Робертсонов, и его не заставили долго ждать: миссис Робертсон поспешно подбежала к двери и впустила его.

– Должна сказать, доктор, я ужасно рада, что вы пришли! – воскликнула она в гостиной, где в преданных заботах о Робертсоне ее поддержала большая, неуклюжая девятнадцатилетняя Маргарет, почти точная копия своей матери.

Сам же Робертсон, сидящий под люстрой, выглядел смущенным, и под пытливыми взглядами всех присутствующих он беспокойно заерзал в кресле.

– Надеюсь, ничего серьезного, миссис Робертсон? – приветливо спросил Финлей.

– Абсолютно ничего, – смущенно пояснил Робертсон. – То есть абсолютно! Я не понимаю, зачем они вас вызвали.

– Лучше помолчи, отец! – строго оборвала его Маргарет. – Пусть мама скажет.

Робертсон замолчал, и Финлей вопросительно посмотрел на миссис Робертсон, которая в своей супружеской озабоченности издала долгий, с присвистом, вздох.

– Ну, в общем, вот что, доктор Финлей. Я не говорю, что это серьезно, понимаете, это далеко не так, но все же я беспокоюсь за своего Роберта. Он слишком перетруился в последнее время! Мистер Дуглас, учитель из класса на год старше, по какой-то причине отсутствовал, и Роберт взял на себя оба класса. Это такая обременительная ноша, скажу я вам. Так и в могилу себя можно свести. А кроме того, эти песнопения. В субботу дети выступают с представлением «Леди Озера» по случаю церковного юбилея. Все это просто одно за другим свалилось на бедняжку, и понятно, что я, как самая преданная жена на свете...

– Да-да, но какое все это имеет отношение к тому, что вы меня вызвали сюда? – улыбаясь, перебил ее Финлей.

– Да прямое, доктор! – возразила миссис Робертсон с видом величайшей озабоченности. – Все это привело Роберта в такое нервное состояние, что он сам не понимает, что делает. Готова поклясться, что он теряет память.

– Ради бога, женщина, – пробормотал Робертсон, – какие пустяки. Ты же знаешь, что я всегда был рассеянным.

– Ну отец... – снова укоризненно перебила его Маргарет.

– Нет, на сей раз не как всегда, – продолжала миссис Робертсон, подаваясь к Финлею в очередном приступе супружеской озабоченности. – Теперь он не помнит, что ему надо сделать. Сегодня он забыл купить мне шерсть, о чем я его просила. Вчера он забыл позаниматься музыкой с Маргарет. И так одно за другим – то одно забудет, то другое. Он в таком состоянии, что скоро забудет, где живет.

Так что, доктор, – подытожила миссис Робертсон, – будьте добры, возьмите беднягу под свой контроль и скажите ему, чтобы не перетруждал себя, вел себя как следует, и все такое, потому что я очень беспокоюсь. Я бы ни за что не позволила ему пропустить выступление с кантатой в церкви.

От слов миссис Робертсон Финлей едва не расхохотался. Подобная чудовищная озабоченность казалась ему бессмысленной, и все же он пребывал в сомнении.

Возможно, Робертсон действительно переутомился. Он был таким маленьким и забитым, что на него, вероятно, все и сваливали, но, кроме того, он в самом деле выглядел странновато: нервничал, не знал, куда деть руки, взгляд тревожно блуждал по стенам и потолку.

Финлей опустился на стул и в своей обычной манере, как хозяин положения, заговорил с ним. Он порассуждал об опасности переутомления, которое может привести к умственному расстройству. Он – сама доброжелательность – заверил в благополучном решении этой проблемы, а под конец, прежде чем встать и попрощаться, в порядке назидания рассказал о случае, который в самом деле имел место в его практике.

– Знаете, – сказал Финлей, – настоящее перенапряжение действительно иногда отключает память. Мы называем это афазией. И это происходит совершенно неожиданно. Помню, когда я служил в клинике «Роял», то был свидетелем такого случая. С одним бизнесменом. Он забыл, кто он такой, или, вернее, считал себя кем-то другим. Он приехал из самого Бирмингема и прожил две недели в Глазго, пока его близкие не связались с ним.

– Боже мой! – чуть ли не с испугом в глазах воскликнул Робертсон и выпрямился в кресле. – Это правда, доктор?

– Правда, – подтвердил Финлей.

– Вот видишь, – встала Маргарет, – так что будь осторожным, отец, и делай то, что говорит мама.

– Никогда бы не поверил, – выдохнув, произнес Робертсон опять же странноватым тоном и глядя перед собой, как человек, потерявший рассудок.

– Ну что ж, может, теперь наконец согласишься, – с чувством удовлетворения сказала довольная миссис Робертсон.

Провожая Финлея до двери, она поблагодарила его за откровенность.

* * *

На следующее утро Роберт проснулся рано после крайне беспокойной ночи.

Была суббота, прекрасный день. В открытое окно с Уинтон-Хиллз дул приятный ветерок. Роберт тихо лежал в постели, уставившись в потолок.

Ему предстояла репетиция кантаты в Рехабит-Холле, где пятьдесят с лишним детей обоих полов – больших и маленьких, сопливых и без соплей, тех самых детей, на которых он ежедневно тратил свои последние силы, – будут ждать его появления с камертоном и маленькой канторской палочкой.

Он встал, оделся и позавтракал. Сара проводила его до двери и дала последние наставления:

– Будь осторожен, дорогой. Днем, когда вернешься, мы с тобой посидим в саду. Потом, может быть, немного прогуляемся вместе. Там, в витрине, я присмотрела шляпку, которую мы могли бы купить для Маргарет.

Робертсон покорно кивнул, затем повернулся и пошел вниз по дороге, через Коммон к Рехабит-Холлу.

Но в конце Коммон случилось нечто странное. Внезапно в его лице произошла перемена. Он оторвал взгляд от земли под ногами, куда обычно и смотрел, и, словно загипнотизированный, устремил его в бесконечность. Он инстинктивно ускорил шаг и, не доходя до Рехабит-Холла, повернул и направился к Черч-стрит.

На Черч-стрит, с той же странной гипнотической сосредоточенностью, он вошел в банк и снял со своего счета тридцать фунтов.

Выйдя из банка, он повернулся и пошел прямо к вокзалу. Встретившиеся ему на пути Дугал Тодд, художник по вывескам, и старый Леннокс, мясник, окликнули его в знак приветствия, но на лице Роберта не отразилось ничего похожего на узнавание.

Он, как деревянный, поднялся по ступенькам на платформу вокзала и без малейшего колебания вошел в вагон только что подошедшего поезда.

С бесстрастным видом он занял пустое купе первого класса, оказавшись среди непривычной для него роскоши. Затем он снял шляпу, изрядно помятый котелок, который носил уже лет десять, и положил его на сиденье рядом с собой.

Он смотрел на мелькающую за окном сверкающую панораму зеленых полей и лесов, на открывающийся эстуарий и красивый залив.

Через полчаса поезд остановился. Это была станция у Крейгендоранского пирса. Роберт вышел из поезда и направился прямо через пирс, как будто намеревался в самом конце шагнуть за край. К счастью, там стоял пароход. Это был «Властелин долин», и Роберт ничтоже сумняшеся поднялся на борт.

Мгновение спустя концы были отданы, сверкнули лопасти колес, и судно отчалило. Весело заиграл оркестр. Дул легкий свежий ветерок, светило солнце, и нос парохода был нацелен на Кайлс-оф-Бьют.

С непокрытой головой, поскольку шляпа осталась в поезде, маленький человечек расхаживал по палубе, так что волосы его развевались на ветру, а затем спустился в ресторан и плотно поел: суп, холодный лосось с огурцом, ростбиф, пудинг, печенье и сыр. Далее, слегка

раскрасневшийся, он снова оказался на палубе и все так же странно, то есть машинально, принялся расхаживать взад-вперед.

– Билеты, пожалуйста, билеты, пожалуйста.

Появился молодой старший стюард, и маленький человечек, словно в замешательстве, приложил руку ко лбу. Билета у него не было.

– Кирн, Данун или Ротсей? – спросил стюард, вытаскивая пачку корешков билетов.

– Ротсей, – на автомате ответил он. Вот так!

Стюард выписал билет и мельком глянул на пассажира, после чего изменился в лице:

– Да ведь это мистер Робертсон, не так ли? Я учился у вас десять лет назад.

– Что-что? – переспросил пассажир с непокрытой головой. – О чем это вы?

Стюард смутился и покраснел.

– Извините, – запнувшись, сказал он. – Обознался.

В Ротсее маленький человечек быстро, машинально сошел на берег, и его взору предстал большой пансионат с нарядной позолоченной вывеской «Утес Коул», прямо напротив пристани. Туда он и вошел.

– Мне нужен хороший номер, – сказал он.

Администраторша за маленьким окошком приветливо улыбнулась.

– Да, – сказала она. – Вы заказывали?

– Нет, я только что с парохода.

– А-а, понятно. Ваш багаж доставят позже?

– Да.

– Я могу дать вам хороший номер с видом на море. Как ваше имя, сэр? – Она протянула ему ручку.

Он замешкался. Если он не Робертсон, то, значит, кто-то другой. Его взгляд затуманился, затем прояснел, словно учитель что-то вспомнил.

– Вальтер Скотт, – сказал он, скорее, себе самому. Так и написал.

Когда постояльца проводили в его комнату, он сполоснул там лицо и руки, затем вышел и зашагал вдоль фасада.

Он зашел в магазин одежды, где купил небольшой чемоданчик, ночную рубашку, разную мелочь и под конец фуражку яхтсмена.

Небрежно нахлобучив на голову обнову, он велел отправить остальные покупки в «Утес Коул» и заглянул в табачную лавку по соседству.

В табачной лавке он со странным блеском в глазах купил себе сигары – большие сигары, каждая была перевязана красивой лентой.

С дымящейся сигарой в уголке рта, в фуражке яхтсмена, лихо сидящей на голове, и с выражением одновременно отсутствующим и самодовольным, он прогуливался по набережной, как бы наслаждаясь солнцем и свежим воздухом.

Хотя он и выглядел до странности отрешенным и загипнотизированным, казалось, что все вокруг развлекало его.

В конце променада он прошел мимо молодой дамы с темными глазами и развевающимися на ветру волосами, выбившимися из-под красного шерстяного берета. Она шла, засунув руки в карманы короткого жакета, и в ней ощущалась какая-то мягкость, шаловливость и одиночество.

С той же своей отрешенностью он развернулся и зашагал вслед за ней. Когда она остановилась, чтобы посмотреть на парусник, стоявший в бухте у самого берега, он тоже остановился. Таким же отрешенным тоном он заметил:

– Прекрасный парусник, не правда ли?

Она согласилась.

– И сегодня прекрасный день, – сказал он бесстрастно и простодушно.

Она, улыбаясь, снова согласилась.

– Где вы остановились? – спросил он.

– В «Утесе Коул», – ответила она.

– Отлично! – произнес он. – Я тоже оттуда. Не пора ли нам вернуться к чаю?

Она расхохоталась:

– Думаете, я не заметила, как вы шли в другую сторону. Вы злой, цепляетесь к приличным девушкам. Я видела, как вы там зло на меня посмотрели.

– О нет, – возразил он, – вовсе нет.

– Ну же, – подтрунивала она над ним, – жду, когда вы скажете, что мы уже встречались раньше.

– Вполне возможно, – странно ответил он. – Я не помню.

Пока они шли к пансионату, она рассказывала ему о себе.

Ее звали Нэнси Бегг, и она работала в большом магазине на Сошихолл-стрит. Она взяла отпуск чуть раньше обычного и теперь призналась, что с тех пор, как приехала в «Утес Коул», ей очень одиноко. В августе Ротсей ей нравился больше.

Ему показалось, что ей лет двадцать семь, и в ней были живость и сдержанность.

– Но вы ничего не рассказали мне о себе. Чем вы занимаетесь? – Имея в виду его фуражку, она лукаво добавила: – Думаю, чем-то морским.

– Совершенно верно, – сказал он. – Старший стюард.

– Сразу видно, – согласилась она, снова улыбнувшись. – Есть в вас что-то... не знаю что. Думаю, что-то лихое.

За ужином они сидели рядом, и он был любезен и предупредителен. После ужина он сказал:

– Что вы делаете сегодня вечером?

– А что вы предлагаете? Есть эстрадные артисты, они чертовски хороши.

Они пошли к эстрадным артистам. Он занял лучшие места впереди и купил ей коробку шоколадных конфет. Когда представление закончилось и они вышли на свежий воздух, на залив опустилась мягкая тьма. Кончик его сигары ярко светился, и по дороге обратно он, как бы сам того не осознавая, обнял ее за талию.

– Ты славный парень, Вальтер, – прошептала она.

Следующие несколько дней были ясными и солнечными. Время шло быстро, а Вальтер и Нэнси наслаждались обществом друг друга. Они вместе гуляли, вместе ездили на машине и совершили круиз вокруг Кайлс-оф-Бьют. Они даже танцевали, потому что накануне ее возвращения в Глазго, проходя мимо Коул-Холла, они увидели вывеску:

**СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР.
ВСЕМ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.
ПЕРЧАТКИ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ.
БАЛЬНАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА**

Нэнси мечтательно вздохнула, повиснув на его руке, и спросила:

– Ты танцуешь, Вальтер?

– Пожалуй, что да, – сказал он со странной, уклончивой осторожностью, к которой Нэнси теперь уже привыкла.

Он заметно изменился: слегка загорел, плечи распрямились, а взгляд, хотя все еще, увы, весьма отрешенный, стал ясным и дерзким.

Ее пароход отплывал в пять часов дня, и перед расставанием они в последний раз прогулялись мимо поля для гольфа за Скеох-Вуд.

Нэнси молчала. Вскоре она пожаловалась, что устала, и они сели. Они были окружены морем молодого папоротника, над которым стволы деревьев и пышная зелень кустов обрамляли полоску голубого неба.

Вдалеке они слышали стук колесного парохода, идущего на Кайлс-оф-Бьют, а затем наступила полная тишина.

– Ты ведь не забудешь меня, правда, Вальтер? – прошептала Нэнси, боясь нарушить это безмолвие.

– Не знаю, – загадочно ответил он. – У меня плохая память.

При этих словах она тихонько вздохнула и обняла его. А он рассеянно обнял ее.

Потом пришло время возвращаться к пароходу Нэнси. Она взяла Вальтера под руку и молча шла вплотную к нему.

Они уже дошли до набережной, ведущей к пирсу, как вдруг дорогу им заступила крупная тучная фигура.

– Привет, привет! – раздался удивленный голос. – Робертсон! Это ты, будь я проклят!

– Прошу прощения, – сухо сказал Вальтер, – вы ошиблись.

– Что?! – охнул толстяк. – Ты что, меня не узнаешь? Бейли Никол из Ливенфорда. Ни черта себе, Робертсон!

– Прошу прощения, – повторил Вальтер. – Моя фамилия Скотт. Будьте добры, дайте мне пройти.

– Да какого черта! – запротестовал Никол. – Черт побери, Робертсон, весь город только о тебе и говорит! Они перевернули все вверх дном в поисках тебя. Только о тебе и пишут...

– Эта молодая леди должна успеть на свой пароход, – заявил Вальтер и, оттолкнув ошеломленного Никола, повел Нэнси к причалу.

– Что это было, Вальтер? – удивленно спросила она.

– Откуда мне знать? – ответил он. – Я никогда в жизни его не видел.

На судне прозвонил колокол. Она крепко и поспешно его обняла.

– У тебя есть мой адрес, – сказала она. – Ты не забудешь меня, дорогой? Пожалуйста.

Когда он вернулся в «Утес Коул», ему показалось, что администраторша смотрит на него с каким-то странным вниманием, но он не придал этому значения.

После ужина он в одиночестве вышел прогуляться по набережной, и звезды смотрели на его маленькую фигурку, фланирующую с непонятно почему торжественным видом. Невозможно было сказать, о чем он думал, но в ту ночь он спал без сновидений.

На следующее утро он не спешил вставать. Около десяти часов он бодро спустился в холл и застал там администраторшу, явно его поджидавшую.

– Вас кое-кто хочет видеть, – решительно заявила она и отвела его в маленькую комнату.

Там он тупо уставился на Бейли Никола в компании двух женщин. Одна из женщин была высокой, грудастой и широкобедрой, с плоским лицом. В ее глазах блестели слезы, а руки дрожали. Рядом с ней стояла, очевидно, ее дочь.

– Итак, Робертсон, – осторожно сказал Никол, – это мы. Ты ведь рад нас видеть, старина?

– Что вы имеете в виду? – холодно спросил Вальтер. – Вы мне уже порядком надоели, сэр. И что здесь делают эти женщины?

При этих словах у женщины, что постарше, вырвался стон. Она подалась вперед и обвила руками шею Вальтера.

– О боже! О боже! – простонала она. – Разве ты не помнишь меня, дорогой? Разве ты меня не узнаешь?

Вальтер с каменным лицом высвободился из ее объятий:

– Отстаньте от меня, женщина! Как можно столь бесстыдно себя вести!

Жестом Никол остановил ее.

– Оставьте его пока, – шепнул он этой женщине. – Мы отвезем его домой. Он лишился памяти.

Объект их сочувствия и внимания, Вальтер был с большой предосторожностью и заботой препровожден в Ливенфорд.

Во время короткого путешествия он сохранял холодное и брезгливое достоинство, когда над ним рыдала то одна, то другая женщина. Но он не возражал против того, чтобы его перевозили, покорно пересаживаясь с парохода на поезд и с поезда в экипаж.

– Он словно заколдован, – всхлипывала женщина постарше, – мой бедный Роберт.

Когда они подъехали к дому на Барлоан-толл, там их уже поджидал молодой человек.

– О, доктор Финлей, доктор Финлей! – простонала женщина. – Только посмотрите на него! Все так, как вы сказали. О, что же мне делать? Что же мне делать?

Увидев на лице Коротышки Робисона новое, отстраненное выражение, Финлей всерьез огорчился. Он быстро подошел к нему и сказал:

– Пойдемте, дорогой. Просто сядем спокойно и немного поговорим. Разве вы меня не знаете? У вас был нервный срыв, и вы просто хотите прийти в себя без лишнего шума.

Похоже, эти слова не тронули Вальтера. С холодным неодобрением он огляделся вокруг.

– Что тут делают эти две женщины? – спросил он. – Скажите им, чтобы они убирались.

Финлей сделал знак миссис Робертсон и Маргарет покинуть комнату, и они неохотно вышли – их рыдания эхом разнеслись по коридору.

Какое-то время Финлей и Робертсон сидели молча. Финлею показалось, что выражение лица Робертсона стало меняться. Пребывание в собственном доме, хотя Робертсон и не узнавал родные стены, сглаживало выражение напряженной отстраненности. Наконец Финлей осторожно заговорил:

– А теперь послушайте меня. Вы должны понять, друг мой, что потеряли память. Это не страшно, но вы полностью потеряли память. Вам придется подождать, пока она вернется.

Наконец на лице пациента появилось выражение искреннего интереса.

– Это правда? – спросил он. – И сколько времени это займет?

– Ну... иногда она возвращается совершенно неожиданно, – сказал Финлей, стараясь, чтобы это прозвучало обнадеживающе, – и проблемы как не бывало...

Медленная улыбка обозначилась на лице Коротышки Робисона.

– Вот теперь все прошло, – сказал он. – Пусть они войдут! – Он нащупал в кармане жилета листок с адресом, и его улыбка стала еще шире. – Но клянусь богом, все это было просто великолепно!

И он тишком ткнул Финлея под ребра.

7. Человек, который вернулся

Однажды вечером в начале июня в приемную, где сидел Финлей, вошел человек, которого он никогда раньше не видел в Ливенфорде. Незнакомцу было, вероятно, от тридцати пяти до сорока лет, но не обязательно, поскольку на его худом, изможденном, желтушного цвета лице, обожженном тропическим солнцем, лежал отпечаток сомнительного опыта, который старит лики юности.

Манеры этого молодого старца были развязными, показными, почти наглыми. Он был в летнем костюме ультраспортивного покроя, с облезлой тросточкой из ротанга, в желтых потертых перчатках; шляпа, которую он не потрудился снять, была водружена на затылок под таким лихим наклоном, что пятна на ее потертом ворсе были почти незаметны.

– Добрый вечер, доктор-сагиб, – самоуверенно произнес этот необычный посетитель и без приглашения рухнул в кресло перед столом Финлея. – Заглянул к вам, чтобы познакомиться. Я Хэй, Боб Хэй, эсквайр Северо-Восточной индийской компании. Только что вернулся из Бомбея, чтобы снова лицезреть этот старый городишко.

Финлей удивленно уставился на странную личность. Подобных персон в его приемной еще не бывало. Придя в себя, он открыл было рот, чтобы задать вопрос, но вездесущий Хэй, постукивая тросточкой по своей остроносой туфле, сверху слегка потрескавшейся, но при всем том прекрасно начищенной, снова заговорил в своем нахрапистом стиле:

– Чертовски забавно выглядит старый городишко, в котором ты не был пятнадцать лет. Могу сказать вам, что, когда поболтаешься на Востоке и повидашь мир, просто пупок надорвешь от смеха в такой заднице, как эта. Ха! Ха! Назови ее хоть королевской, хоть древней. С древностью тут все в порядке. Никакой жизни, док, никаких ярких огней – ничего! Чтоб мне лопнуть! Не знаю, как я теперь тут выдюжу, дома-то.

С легким смешком бывшего человека он вытащил из жилетного кармана сигару и небрежно сунул ее в рот.

Не отводя взгляда, Финлей с растущей антипатией изучал этого показушного Хэя – Боба Хэя, эсквайра, как он себя называл, – этого сына Ливенфорда, вернувшегося в родной город после многих лет за рубежом. Наконец он сухо спросил:

– Видя, что вас тут все не устраивает, можно ли поинтересоваться, почему вы вернулись?

Боб Хэй рассмеялся и беспечно помахал своей сигарой, которую зажег по-простому – позаимствовав спичку со стола Финлея и ловко чиркнув ею о подошву туфли.

– По состоянию здоровья, доктор-сагиб! Климат играет с печенью злые шутки и гасит огни Востока... жизнь, к которой привык, званые обеды, танцы, полковые балы. Господи, когда человек не может без общества, док, – о, вам ли этого не знать, старина! Пришлось на время отказаться от этого и вернуться. Пара моих приятелей в Бомбее, большие специалисты, отличные ребята, оба посоветовали мне немного отдохнуть и съездить домой.

Финлей помолчал, усваивая эту малоубедительную информацию.

– Значит, затем вы возвращаетесь в Индию? – спустя минуту спросил он.

– Возможно, все возможно, – уклончиво ответил Хэй. – Посмотрим, как оно пойдет в старом родном городишке. Может, и вовсе осяду здесь. Куплю небольшое поместье за городом. Кто знает. Ха! Ха! Компания хорошая, чтоб ей пусто было, – чертовски хорошая! Устроила знатную пенсию Бобби Хэю!

– Вас отправили на пенсию? – тут же отозвался Финлей.

При всей напускной беспечности, которую демонстрировал Хэй, было совершенно ясно, что если он получил пенсию от компании, то Индии ему больше не видать. Но в чем причина? Финлей еще пристальнее глянул на гостя, за натужливо-бодряческой бравадой которого при ближайшем рассмотрении обнаруживалось что-то явно неблагополучное. И, приглядевшись,

Финлей отметил скрывавшуюся под загаром болезненную бледность Хэя, учащенное дыхание, мелкую нервную дрожь тонких желтых от никотина пальцев.

Доктор решительно придвинул к себе лист бумаги и взял ручку.

– Похоже, мы попусту теряем время, – заявил он. – Вы хотите, чтобы я вас осмотрел? Что именно я могу для вас сделать?

– О, ничего особенного, доктор-сагиб, ничего особенного, – милостиво отмахнувшись, возразил Хэй. – Консультация мне не нужна. И не беспокойтесь о диагнозах и всем таком прочем. У меня есть лекарство, назначенное моими бомбейскими друзьями. Принимаю, когда вспоминаю о нем. Собственно говоря, я заглянул к вам только потому, что компания попросила меня отмечаться у местного доктора. Мне придется каждый месяц посылать им от вас медицинскую справку о моем здоровье. – Он выразительно помолчал. – Разумеется, из-за моей пенсии, разве не понятно?

– Нет, – отрубил Финлей. – Мне не совсем понятно. Я не могу дать вам справку, пока не узнаю, что с вами. Мне очень жаль, Хэй, но, если вы хотите получить от меня справку, я должен вас осмотреть.

Последовала несколько курьезная пауза, которую Хэй с готовностью прервал своим характерным хохотком:

– А вы правы, старина. Я ничуть не против. Ни на йоту, чтоб ее... Ха! Ха! Поехали. Измерьте мне грудь чертовым метром. Боб Хэй может дышать, не дышать не хуже других.

С тем же притворным безразличием Хэй встал и снял пиджак и жилет, оставшись в более чем ветхом нижнем белье. По пояс обнаженный, в брюках и носках, он являл собой жалкое зрелище: руки – кожа да кости, ребра торчат, как корабельные шпангоуты, а в центре узкой грудной клетки – странная пульсация.

Весь облик Хэя свидетельствовал о скверно прожитом времени. Но Финлея меньше всего заботило телосложение этого человека. Взгляд доктора был прикован к пульсации посередине грудной клетки. Она выглядела неестественной, эта пульсация, и зловещей – ужасно зловещей.

Финлей осматривал Боба Хэя довольно долго, не задавая вопросов, лишь осторожно и методично прикладывая стетоскоп. Затем с совсем другим видом он снова сел за стол и сказал:

– Можете одеваться, на сегодня все. Я дам вам справку.

– Отлично, доктор-сагиб! – весело воскликнул Хэй. – Я знал, что не возникнет ни малейших препон. Старый боевой конь в добром здравии. Если не считать глупых придилок со стороны этих супердокторов в Бомбее. Они мои добрые друзья, заметьте, но нервные, словами не описать какие нервные. Со мной все будет в порядке, как только я нарою, где в этом городишке заняться спортом и развлечься.

Финлей ответил не сразу; он продолжал не спеша выписывать справку. Но когда Хэй оделся, он поднял глаза и бесстрастным профессиональным тоном, скрывавшим неприязнь, заявил:

– Спорт и развлечения – это не для вас, Хэй. Вы больной человек. Вам нужен полный покой и никаких волнений.

– Это чепуха, ясен пень, док! – засмеялся Хэй. – Я в полном порядке.

– Вы не в порядке, – с нажимом повторил Финлей. – Вы наверняка в курсе, почему вас отправили сюда. – (Пауза.) – Неужели вам не известно, что у вас прогрессирующая аневризма аорты?

После того как в приемной прозвучало роковое название этого ужасного недуга, снова повисла странная тишина. Затем Хэй улыбнулся, хотя на сей раз улыбка на его усохшем желтушном лице вышла несколько кривоватой, невольно превратившись в ухмылку, чуть ли не в гримасу.

Во взгляде, который он бросил на Финлея, были горечь, протест, искренность. Но лишь на мгновение. Тут же снова раздался дежурный смех – развязный, беззаботный, неудержимый смех.

– Хорошенькое дело, доктор-сагиб. Но вам меня не напугать этими фантазиями. Ха! Ха! Этот парень покрепче гвоздя и прочнее дубленой кожи, док. Старый насос немного забарахлил, только и всего. Ничего серьезного. Боба Хэя вам не прикончить, доктор, нет, клянусь Богом, сэр! Этого парня еще на сто лет хватит.

И, взяв справку, он неторопливо сложил ее, сунул в карман жилета, сдвинул шляпу набок, натянул свои дешевые перчатки, небрежно кивнул Финлею и, размахивая ротанговой тростью, самоуверенно вышел из приемной.

Финлей, нахмурившись, неподвижно сидел за столом, удивленный нахрапистостью Хэя и в то же время озадаченный безразличием этого странного пациента к своему ужасному недугу.

Осознавал ли Хэй, что это за страшная болезнь: аневризма – взбухание стенки самой крупной артерии, отходящей от сердца, на каком-то ее участке, где она могла в любую секунду разорваться, что привело бы к мгновенной смерти?

Неужели он не понимал, что его жизнь висит на волоске? Что в конце концов через какие-то несколько месяцев он будет лежать в холодной могиле? Финлей вздохнул, и им поневоле овладело огромное любопытство: кто же такой этот Хэй и какова его судьба?

Когда прием закончился и Финлей пошел в столовую, чтобы поужинать, он и в самом деле решил осторожно навести справки.

Камерон был на вызове, но Джанет, неиссякаемый источник сведений по вопросам, связанным с Ливенфордом и его жителями, охотно выдала ему всю необходимую информацию.

– И правда, – ответила она, качая головой и плотно сжимая губы, как бы осуждая и сожалея. – Я знаю Боба Хэя – и все-все про него. Сколько горя горького он принес своим родным, а особенно Крисси Темпл. – Джанет помолчала, снова покачала головой и продолжила суровым тоном: – А между прочим, каким чудесным парнем был он раньше. Из приличного рода – да, его предки были уважаемыми людьми в Ливенфорде. Они жили на Ноксхилл-вей, и у них был прекрасный большой дом. А Боб был единственным сыном. Он поступил в гимназию, как и почти все парни с Ноксхилл-вей, а потом стал работать на верфи в чертежной конторе. Да, он подавал немалые надежды в своем деле, люди в конторе его любили, он с удовольствием участвовал в городской жизни. И самое-то главное, когда ему было двадцать три года, он познакомился с Крисси Темпл и начал всерьез и самым достойным образом за ней ухаживать. Может, вам следует познакомиться с Крисси Темпл, доктор?

Финлей утвердительно кивнул, и Джанет, вдохновленная его интересом к этой истории, продолжила рассказ:

– Крисси – очень милая женщина. Хотя, конечно, в те дни она была намного красивее. Как вы, может, знаете, она была дочерью Темпла, городского писателя, живой темноволосой девушкой, невинной, мечтательной и довольно увлеченной Бобом. Они больше года хороводились. И между прочим, были помолвлены. Их привязанность друг к другу была широко известна в городе – все только об этом и говорили. Ну а весной год спустя вышло так, что Бобу предложили должность в одной из крупных индийских компаний в Бомбее. Это, доктор, шанс, который часто выпадает кому-нибудь в нашем городе, – может, вы даже знаете про внешние связи судоверфи и все такое. Так или иначе, Бобу предложили должность. О, это была великолепная возможность, которой, по мнению Крисси и Боба, не следовало пренебрегать, – шанс на продвижение по службе, чтобы через пять лет вернуться в Ливенфорд на верфь и занять там какой-нибудь хороший высокий пост. Итак, после долгих раздумий и сердечных терзаний – поскольку надо знать, что индийский климат не подходил для Крисси, а Бобу не хотелось ехать одному и оставлять ее, – было решено, что он все же отправится в Индию, где отслужит положенный срок. Крисси терпеливо подождет его возвращения, а потом они сразу же поженятся и

начнут в Ливенфорде счастливую жизнь. В общем, Боб в слезах, с любовными заверениями и всевозможными клятвами верности простился с Крисси и за несколько месяцев разбогател и приобрел вес в обществе. А потом, постепенно, письма от Боба стали приходить не так регулярно. Вскоре они стали очень редкими и, наконец, вовсе прекратились. Но конечно же, самое главное – это дикие выходки Боба, о чем рассказывали люди по возвращении домой из Индии, те, что разъезжали туда-сюда между Северо-Восточной компанией и верфью. Поначалу Крисси категорически отказывалась верить этим рассказам, но однажды, примерно через год после того, как Боб уехал, она получила письмо от этого героя с объявлением о разрыве помолвки. Он-де через пять лет домой не вернется. А местный климат для нее неподходящий. Сам же он, Боб, недостойн ее. Всю эту кучу причин он придумал, чтобы оправдать свой разрыв с ней, но Крисси считала, да и все в Ливенфорде считали, что истинной причиной была его порочная заграничная жизнь. Да, ну и когда Крисси наконец осознала, что Боб ее обманул, то была, в общем, потрясена. Она ничего не сказала, ничего не ответила, не сделала ничего такого. Но с того дня в чудесной девушке-красавице произошла перемена. Она стала тихой, замкнутой, отдалилась от городской жизни. Крисси осталась такой же нежной и кроткой, как всегда, даже еще больше, но почему-то выбрала одиночество, одна совершала долгие прогулки, будто ей в тягость было общество ровесников. Да, время шло, о Бобе Хэе ни слуху ни духу, пропасть между ним и Ливенфордом все увеличивалась. Только изредка всплывали какие-то постыдные истории о его тамошних непотребствах. А там такое было, что он сделался чуть ли не притчей во языцех в нашем городе. С разбитым сердцем, не в силах поднять голову от стыда, мать Боба так и зачахла. А вскоре после того и отец его лег в могилу. Но Крисси ходила с поднятой головой. Время от времени она получала предложения – лучшие женихи города сватались к ней, но она всем отказывала. Поверьте, хотя Крисси, наверно, года тридцать два, она все еще хороша собой, и, думаю, нашлось бы немало мужчин, которые всю жизнь ухаживали бы за ней. – Джанет помолчала и мрачно заключила: – Теперь, когда он вернулся, если, бог даст, они с Крисси снова встретятся, хотела бы я услышать, что она ему скажет.

Джанет наконец выскользнула из столовой, оставив Финлея за его ужином, и доктор погрузился в тяжелые раздумья о только что услышанном. Он знал Крисси Темпл, хотя до сих пор ему не была известна ее история, и только теперь Финлей понял это сочетание в ней красоты и печали, которое всегда поражало его.

Осознав, в какую драму превратилась жизнь Крисси, Финлей преисполнился еще большей неприязнью к этому развязному человеку, который вернулся все потерявшим, умирающим, но наглым до предела. В отличие от Джанет, Финлей всем сердцем молился, чтобы Крисси никогда больше не встретилась с Бобом.

Шло время, а Боб Хэй так и оставался в Ливенфорде.

Горожане с каменной враждебностью отпихивались от него, как от собаки, несмотря на все его заигрывания и попытки напомнить о себе. Но Бобу, похоже, было все равно. Неприятие его не обескураживало, а каждый раз только взбадривало. Во всяком случае, такое складывалось впечатление.

Он много бывал на людях, маячил на Кросс, днем и вечером прохаживался по Хай-стрит, одетый в свой щегольской наряд, размахивая тростью, беззаботно и нахально насвистывая.

И каждый месяц, самовлюбленный, одиозный, но, как всегда, неугомонный, он неизменно являлся в приемную за справкой, которая давала ему право на пенсию.

Объяснив, что предпочитает оплачивать свои медицинские счета раз в год, он самодовольно удалялся, не опускаясь до таких мелочей, как плата Финлею за услуги.

По всему городу уже ходили слухи, что он в долгах. Казалось, у него и в самом деле не было никаких средств к существованию, кроме пенсии, выплачиваемой ему компанией, хотя, как он снисходительно заявлял, эта пенсия выражалась в более чем солидной сумме.

Однако первого сентября Хэй не появился, как обычно, в приемной, и Финлей, который почему-то ждал этих встреч со смесью отвращения и интереса, гадал, что могло случиться с несчастным фанфароном.

Гадать пришлось недолго. На следующий день Финлей получил сообщение с просьбой навестить Хэя в отеле «Инверклайд». Движимый странным любопытством, Финлей не стал медлить.

Оказалось, что Хэй снимает маленькую комнатку с видом во двор, а сам отель, несмотря на громкое название, представляет собой жалкую, с дурной славой гостиницу, уютившуюся за пристанью. Хэй лежал в постели, сильно расстроенный, бледный, небритый, и, по-видимому, страдал от боли. Однако, как всегда, тут же напустил на себя беспечный и вызывающий вид.

– Простите за беспокойство, доктор-сагиб, – прохрипел он, – но сегодня, похоже, не получается надеть все причиндалы. – А затем, прочитав неприязнь в глазах Финлея, добавил: – Да, места здесь маловато. Когда встану, то, черт возьми, устрою им взбучку! Кстати, в конце следующего месяца я собираюсь погостить у друзей.

Финлей осторожно присел на край кровати и, сделав собственное умозаключение, спросил:

– Пили небось?

На мгновение почудилось, что губы Хэя обозначили категорическое отрицание, но потом лицо его перестроилось, и он хохотнул:

– Почему бы и нет? Немного взбрызнуть никому не помешает. Печень взбадривает. Верно, док?

Финлей молчал, потрясенный, несмотря ни на что, притворством, жалкой клоунадой человека, беспомощно распростертого перед ним. Доктор не был склонен к проповедям, он ненавидел всяческое проявление религиозного ханжества и якобы праведности, но тут им овладело какое-то новое, ему самому неведомое чувство, и он воскликнул:

– Во имя всего святого, Хэй, что вы себе позволяете?! Это никуда не годится и для лучших времен. Но разве вы не понимаете – разве не понимаете, – он понизил голос, – что вам осталось жить всего каких-то несколько месяцев?

– Ха, чушь собачья, доктор-сагиб! – прохрипел Хэй. – Пойдите и расскажите это своей бабушке.

– Это вам я рассказываю, – чуть ли не умоляюще, вполголоса продолжал Финлей. – И я отвечаю за свои слова. Почему бы вам не взять себя в руки, Хэй?

– Взять себя в руки? Ха! Ха! Вот это классно, док! Ради чего это, во имя Аллаха, мне напрягаться?

– Ради самого себя, Хэй.

Снова возникла пауза, и непробиваемый Хэй с вызовом встретил умоляющий взгляд Финлея.

Все это показалось Финлею абсолютно безнадежным, и он потянулся было к саквою за стетоскопом, как вдруг нечто странное остановило его и он, пораженный, оцепенел, словно зажатый в тиски.

На лице Хэя, до того выражавшем лишь дешевое наплевательство, обозначилось какое-то невероятное волнение, щека его задергалась, и, чудо чудное, из глаза выкатилась и медленно поползла по щеке слеза.

Он отчаянно пытался сохранить маску безразличия, но тщетно. Она соскользнула и исчезла – раз и навсегда. Хэй сдался и, отвернувшись к стене, зарыдал так, словно сердце его было готово вот-вот разорваться.

Невольная жалость охватила Финлея.

– Ну будет, дружище, – пробормотал он, – возьмите себя в руки.

– Взять себя в руки! – в истерике прорыдал Хэй. – Ох, как классно! А что, по-вашему, я делал с тех пор, как вернулся домой, – только и брал себя в руки. Думаете, мне было приятно возвращаться, как побитая собака, чтобы сдохнуть в канаве? Разве я не делал вид, что все в порядке, не пытался не падать духом? Господи, разве нет?! Думаете, я пил? У меня, чтоб вы знали, ни капли во рту не было с тех пор, как вернулся! Это правда. Мне плевать, если не верите. А знаете, сколько я получаю? Три фунта в месяц. Отлично, да? Попробуйте прожить на три фунта! Черт, просто отлично можно прожить! Особенно такому, как я, когда сердце может разорваться в любую минуту.

Горестно скорчившись на кровати, Хэй содрогался от боли.

Последовало долгое молчание, затем Финлей инстинктивно положил руку Хэю на плечо. У него было ужасное чувство, что он недооценил этого человека: то, что он принял за дешевую фанаберию, было всего лишь маской мужества.

– Не горюйте! – тихо сказал он. – Мы что-нибудь придумаем.

– Нет, это бесполезно. Здесь меня считают придурком, – возразил Хэй с болью в голосе. – Со мной никто не хочет иметь дело. Я как прокаженный. Может, я и есть прокаженный. Здесь все только плюют в меня, обливают грязью. О, не думайте, что я жалуясь. Я это заслужил. Я это заработал. Они имеют право рычать и огрызаться на меня. Чем скорее я умру, тем лучше.

Пока Хэй говорил, на лице Финлея появилось странное выражение – то самое, которое обычно предвещало принятие серьезного решения. Он больше ничего не сказал, даже не попытался далее утешать Хэя, но, встав со странной решимостью в глазах, покинул комнату.

Примерно через час, когда Хэй выплакал свое горе и, опустошенный, лежал в одиночестве, уставившись в потолок, дверь тихо отворилась, и кто-то вошел в комнату. Ему было безразлично, кто это, но, когда наконец он повернул голову и посмотрел, с губ его сорвался возглас.

– Ты, – словно в священном трепете прошептал он. – Ты... Крисси!

Она медленно вышла из тени – Крисси Темпл, скромная и достойная: темные над гладким лбом волосы, заплетенные в косу, в глазах доброта и сердечность.

Она села рядом и взяла его за руку:

– Почему бы и нет?

Он не мог говорить – казалось, его снова душили подступавшие к горлу рыдания. Наконец он прохрипел со стоном:

– Уходи, оставь меня. Разве тебе мало от меня досталось?

– Но я не хочу уходить, Боб, – прошептала она. – Если ты позволишь, я лучше останусь. Сейчас я тебе нужна.

Она спокойно улыбнулась ему, и было в ее улыбке что-то такое, что заставило его замолчать. Забыв о своей боли, он склонил голову ей на грудь – прощенный, любимый.

Позже он попытался объяснить, сбивчиво рассказал ей о причине своего предательства – о том, как он запутался в непредвиденных обстоятельствах, впал в нищету и долговую кабалу и в конце концов был отправлен в глухомань, в изолятор, где, преданный забвению, покорился судьбе.

Она с сочувствием и пониманием слушала, гладила его по голове, умиряя взъерошенные волосы.

В таком положении их и застали сумерки, опустив перед помилившейся парой занавес, заглянуть за который было бы святотатством.

Неделю спустя Ливенфорд потрясло известие о том, что Боб Хэй и Крисси Темпл женятся.

Церемонию организовали для узкого круга, и Финлей был среди приглашенных. Затем Боб переехал в дом Крисси, где имелся небольшой сад, прямо на вершине Леа-Брэ, откуда открывался прекрасный вид на залив Клайд.

Исцеленный душевно и духовно, пусть и не телесно, Боб познал благодать и заботу со стороны любящей женщины.

Большую часть времени он проводил в постели, но, когда на смену зиме снова пришла весна, Крисси отвела его в сад, где, откинувшись в глубоком кресле, он, полный нежности, держал руки жены, сидевшей рядом, и смотрел на распахнутый морской простор, с кораблями, уплывающими будто в иной мир.

Станный, но счастливый медовый месяц! Финлей часто посещал этот дом, но именно любовь Крисси и ее безграничная доброта, а не его врачебный опыт продлили Бобу жизнь.

Он прожил все это прекрасное лето в великом счастье и покое, его напускная бравада и дешевый гонор исчезли, и на смену им пришли подлинная сила и терпение, с которыми он переносил свои муки, свою боль.

Когда в ландшафте стали проявляться первые краски осени и первые листья, оттрепетав, неслышно полетели с ветвей деревьев, Боб Хэй мирно ушел, уплыл, подобно кораблям, в иной мир.

Когда он умирал, Крисси была рядом с ним.

Она по-прежнему почти не бывает на людях и по-прежнему совершает одинокие прогулки, но, когда Финлею случается встретиться с ней и он останавливается, чтобы обменяться парой фраз, ему кажется, что вместо печали на ее лице – счастье.

8. Чудо Лестрейнджа

Приезд в Ливенфорд Лестрейнджа, шарлатана и знахаря-целителя, сотворил странное чудо. Но чудо свершилось необычным и окольным путем, и случилось оно в женском сердце, и оказалось далеко не таким, на какое рассчитывал Лестрейндж.

Джесси Грант была вдовой, владелицей табачного магазинчика на углу Уоллес-стрит, рядом с банком Скрогги. Небольшого роста, темные волосы туго стянуты на затылке, одета просто – в одно и то же черное саржевое платье. Однако выражение ее бледного узкого лица могло вас поразить и испугать – такая сдавленная горечь полыхала огнем в ее темных, под черными бровями глазах.

Упрямой и жесткой была Джесси, известная всему Ливенфорду как женщина суровая, с трудным характером, которая не просит и не уступает.

Магазинчик был невелик – тусклое, дряхлое помещение, похожее на древнюю аптекарскую лавку, с прилавком и маленькими медными весами, рядами желтых жестяных коробок и тугой, облупленной от капризов погоды дверью, которая звякала, когда ее открывали.

За магазином располагалась кухня дома Джесси, с большим буфетом, вычищенным до ослепительной белизны столом, несколькими стульями с прямыми спинками и длинным, низким, набитым конским волосом диваном. На стене висели часы-ходики и две цитаты из Библии. Отсюда же узкая лестница вела в две спальни наверху.

Муж Джесси, человек дурной и ни к чему не годный, умер и был похоронен двенадцать лет назад. Она осталась одна с ребенком, мальчиком по имени Дункан.

Угрюмая и недоверчивая, она яростно боролась за то, чтобы обеспечить себе и сыну средства к существованию, и, хотя ей это удавалось, она еще больше ожесточилась.

Как говорят в Ливенфорде: «Попутный ветер не для Джесси Грант».

«Держать в строгости» – не то выражение, которым можно было бы характеризовать ее метод воспитания Дункана. В ее глазах не было ни проблеска человечности. Для тех, кто осмеливался обвинять ее в этом, у нее всегда был наготове ответ из Екклесиаста, глава 12, стих 8, чтобы бросить им прямо в лицо: «Суета сует. Всё – суета!»

Четырнадцатилетний Дункан, худой и долговязый, быстро вытянувшийся в ущерб здоровью, был молчаливым, весьма застенчивым и чувствительным мальчиком, но с самой дружелюбной улыбкой на свете.

В школе он был всегда одним из лучших учеников и просил позволить ему продолжить образование, дабы стать преподавателем. Но Джесси, как всегда неумолимая, сказала «нет», и Дункану за несколько месяцев до окончания школы пришлось бросить учебу и начать работать на верфи клепальщиком.

Люди тихо возмущались таким обращением с сыном, таким отсутствием материнской любви, но Джесси ничто не могло пронять. Горечью и суровостью было исполнено ее отношение к Дункану.

Естественно, такой женщине было не до каких-то там докторов. Ее спартанские принципы и непоколебимая вера в касторовое масло и свежий воздух исключали контакт с медициной.

Так что Финлею не приходилось встречаться с Джесси, пока однажды весной он не получил совершенно неожиданный и абсолютно необъяснимый вызов в ее магазинчик. Но разумеется, не к Джесси, а к Дункану – на сей раз касторовое масло не помогло. И Финлею не понадобилось и десяти минут в темной комнатке мальчика, чтобы определить, что дело действительно серьезное. На правой лодыжке Дункана виднелась крупная опухоль, зловещая опухоль, очень

белая и мягкая, но без признаков воспаления. Вид ее не обещал ничего хорошего – ничего хорошего там и не было.

У Финлея после тщательного осмотра не осталось никаких сомнений в том, что это туберкулез голеностопного сустава.

Вернувшись в столовую, Финлей сообщил об этом Джесси, причем не стеснялся в выражениях, поскольку ее скепсис по отношению к нему и холодность в обращении с сыном уже вывели его из себя.

– Это означает, что нога шесть месяцев будет в железном протезе, – резко заключил он. – И притом – никакой работы.

Джесси ответила не сразу – казалось, она была ошеломлена серьезностью заболевания, – а затем воскликнула:

– Железный протез!

Финлей смерил ее взглядом.

– Совершенно верно, – прямо сказал он. – А также забота и внимание с вашей стороны.

Джесси снова замолчала, при этом сердито глянув на Финлея из-под темных бровей, как будто была готова его убить. С этого момента она стала его смертельным врагом.

В последующие недели это проявлялось во многом. Всякий раз, когда Финлей приходил к Дункану, она оказывалась рядом, суровая и критичная, чуть ли не полная презрения. С кислой, осуждающей миной она хмуро наблюдала за тем, как крепится железная скоба на ноге.

Джесси откровенно ворчала по поводу данных ей инструкций и язвительно высказывалась по поводу слишком уж медленного и нудного хода лечения. Ребенку-де нет никакой пользы от Финлея. Все, что доктор делал, – это полная чепуха.

Не раз они обменивались резкими словами, и вскоре Финлей возненавидел Джесси точно так же, как она его.

Он начал следить за тем, как Джесси обращалась с сыном, считая совершенно неестественной ее суровость.

Этот умный, нежный и чуткий мальчик тянулся к книгам, но был вынужден выживать в грубой и небезопасной среде судоверфи, которой он явно не подходил, тогда как легко мог бы выучиться на школьного учителя, о чем и мечтал. Но кривобокая воля Джесси препятствовала этому.

Выражалась она односложно и категорично – ни одного ласкового словечка не слетало с ее губ.

Время шло, и для Финлея эта ситуация становилась почти невыносимой.

А затем фанфары и многочисленные афиши, расклеенные на столбах ворот в округе, объявили о прибытии в Ливенфорд самого Лестрейнджа.

Этот Лестрейндж, или, как он гордо называл себя, доктор Лестрейндж, представлял собой смесь шоумена и псевдолекаря, родом из Америки, он объехал весь мир и наконец оказался в Ливенфорде.

Вооруженный внушительным электрооборудованием, он выдавал себя за великого целителя, мага, который помогает человечеству, излечивая безнадежных больных, когда обычная медицина бессильна.

Он имел обыкновение выставлять перед входом в зал, где проходили представления, умопомрачительную коллекцию медицинских шин, костылей и стальных ножных протезов, от которых якобы радостно отказывались исцеленные им пациенты.

Это было чистое надувательство. Но по случаю визита Лестрейнджа такая выставка действительно появилась и в Ливенфорде перед Бург-Холлом, дополненная множеством фотографий и кучей письменных свидетельств от бывших калек.

Финлей сам осмотрел эту выставку, и она вызвала у него не более чем удивление и насмешку. Там и думать было особо не о чем.

Но судьба распорядилась так, что Финлей будет в мыслях много раз возвращаться к Лестрейнджу.

Ближе к вечеру, когда он шел по Черч-стрит к своей приемной, на его пути возникла Джесси Грант. Она явно ждала его, и в ее глазах горел огонь решимости. Прямо, без обиняков она заявила:

– Больше не приходите к моему Дункану. С меня хватит и вас, и вашего бесполезного лечения. Сегодня вечером я отведу его к доктору Лестрейнджу.

Застигнутый врасплох, Финлей поначалу только хлопал глазами, но затем воскликнул:

– Ну что за глупость!

– Действительно глупость! – взорвалась она. – Я устала от этой вашей возни-размазни. Все одно от нее никакого проку.

– Но я же объяснял, что это дело долгое, – возразил Финлей. – Дункан поправится через пару месяцев. Ради бога, наберитесь терпения!

– Да вы уж мне все мозги с этим терпением проели! – огрызнулась она.

– Но этот Лестрейндж вовсе не врач, – возразил Финлей.

– Это вы так говорите! – вспыхнула Джесси, издав короткий едкий смешок. – А люди говорят иное. И я буду не Джесси Грант, если не отведу к нему Дункана.

И прежде, чем он успел еще что-то сказать, она напоследок бросила на него злобный взгляд и пошла прочь.

Финлей чуть не поспешил за ней следом, но тут же осознал, что возражать бесполезно. Покачав головой, он продолжил свой путь.

Ему было ясно, что Лестрейндж – самозванец, который никоим образом не вылечит Дункана. Этой мыслью он и довольствовался, подумав, что вмешательство этого человека приведет лишь к разочарованию и унижению Джесси Грант.

Но тут Финлей слегка недооценил и саму личность беспардонного Лестрейнджа, и его приемы воздействия на публику. Так называемый доктор столь долго торговал человеческой доверчивостью, что стал настоящим мастером в искусстве плутовства и обмана. Внешне он тоже прекрасно подходил для этой роли: высокий и прямой, с патриархальной гривой волос и сверкающим магнетическим взглядом.

Под стать ему была и его главная помощница, красивая молодая женщина по имени Мариетта, молчаливая, темноволосая, с влажными глазами, которую он называл дочерью индейского вождя. Поэтому неудивительно, что доверчивая публика попадала под гипноз такой вопиющей наглости.

В тот вечер перед переполненной аудиторией Бург-Холла Лестрейндж и Мариетта в окружении лейденских банок и прочих электрических приборов, включая нечто странное под названием «Камера возрождения», неуклонно продвигались к кульминации своего действия, то есть, разумеется, к демонстрации чуда исцеления.

Итак, эффектным взмахом руки Лестрейндж призвал всех к вниманию и попросил привести к нему хромого калеку.

Первым среди таких оказался Дункан Грант. Безжалостно вытолкнутый матерью, он стоял на сцене, бледный и дрожащий, в то время как на него были устремлены взоры всех, кто набился в этот зал.

Лестрейндж театрально шагнул к Дункану и покровительственно положил руку ему на плечо.

С показной благонамеренностью он уложил мальчика на специальную кушетку и на глазах у публики произвел как бы тщательнейший осмотр.

Хотя похожее на маску лицо Лестрейнджа не выразило никаких чувств, он, ощутив ногу Дункана, явно воодушевился.

Не имея никаких медицинских знаний, он тем не менее благодаря своему долгому опыту мог определить, кто из хромоножек наиболее подходит для его «чудо-исцелений». Дункан подходил идеально, потому что нога в результате терпеливого и настойчивого лечения прекрасно отзывалась на прикосновения. Опухоль спала, кость зажила – лодыжка, благодаря Финлею, в сущности, была почти здорова.

Театрально выпрямившись, Лестрейндж поднял руку, требуя внимания зала.

– Леди и джентльмены, – начал он своим резким гнусавым голосом, – теперь я приступаю к демонстрации своих способностей!

Продолжая гипнотизировать публику и используя малопонятные термины, он в самых суровых выражениях осудил «старомодных костоломов», изуродовавших ногу мальчика проклятым железом, а затем с пафосом объявил, что намерен вылечить его.

Кивнув Мариетте, подошедшей к нему с очаровательнейшей улыбкой, которую никогда не увидишь на лице опытной медсестры, он поднял Дункана с кушетки и с помощью своей красотки-помощницы повел к «Камере возрождения».

Облачившись в белые длинные одежды и натянув резиновые перчатки, Лестрейндж вместе с Дунканом вошел в «Камеру». В мертвой тишине были отрегулированы различные внутрительные стержни и провода; затем в почти болезненной безмолвии прозвучала скрежещущая команда мага.

Мариетта повернула рычаг, и треск известил, что по аппаратуре пошел ток. Из камеры посыпались искры, окружив ее экраном голубого пламени. Затем рычаг вернулся на исходную позицию, пламя погасло, и наступило напряженное молчание.

Завороженные зрители видели, как Лестрейндж нагнулся, снял с ноги Дункана железную скобу и с видом победителя небрежно швырнул ее через сцену.

Затем, когда Дункан, пошатываясь, вышел из камеры, сделал несколько шагов и, повиная шипящей команде Лестрейнджа, бегом покинул сцену, в зале раздался громкий вздох, перешедший в вопль восхищения.

Под восторженные возгласы Дункан спустился по ступенькам и прижался к матери, а Лестрейндж, вытянув перед собой одну руку и приложив к сердцу другую, поклонился зрителям с благодарностью за признание его искусства.

О, это был волнующий, поистине великий момент для всех, кто находился во взбудораженном зале!

На следующее же утро, когда Лестрейндж и его компания, заполучив кругленькую сумму, были уже в тридцати милях от Ливенфорда, в приемную Финлея со злобещим торжеством в глазах ворвалась Джесси Грант.

Она полыхала таким мстительным огнем торжества, что слова сорвались с ее губ подобно языкам пламени:

– Вы не хотели, чтобы я отводила мальчика к доктору Лестрейнджу! Вы хотели, чтобы он на всю жизнь остался калекой, верно?! И если вы еще не слышали, довожу до вашего сведения, что я действительно отвела его. И он вылечился – вылечился, слышите? Сегодня утром он снова отправился на верфь. Он в состоянии работать, несмотря на все ваше головотяпство. Вот что сделал для него настоящий доктор, а не какой-то там никуда не годный невежда, вроде вас.

Финлей уставился на разъяренную Джесси – брань прошла мимо его ушей, однако столь неожиданный поворот событий вызывал тревогу.

– Разве я не говорил вам? – отчеканил он. – Этот человек – отъявленный мошенник.

– У него парнишка пошел без вашей железки! – взвизгнула она. – Вам и не снилось такое сделать.

– Но разве не понятно, – сдерживая гнев, тут же возразил Финлей, – что Дункан в любом случае сам мог ходить? Беда в том, что если слишком рано снять протез, то все эти недели лечения пойдут насмарку.

– Чепуха! – закричала она. – Чепуха и вранье! Я вас знаю. Вам лишь бы лицо свое спасти. Финлей посуровел и посерьезнел.

– Миссис Грант, – твердо заявил он, – говорите обо мне что хотите. Я думаю не о себе, а о Дункане. Он должен еще два месяца носить железный протез. Умоляю, позвольте ему. Дайте мне еще немного времени позаниматься им...

– Нет и нет! – в порыве ярости прервала она его. – С вами покончено. Вопреки вам мальчик вылечился. Так что никогда больше не смейте появляться на пороге моего дома.

Разразившись торжествующим и презрительным смехом, она повернулась и бросилась вон из приемной.

Гнев слишком поздно охватил Финлея. Доктор был в бешенстве.

Горя негодованием, он проклинал себя за то, что так долго терпел Джесси. Она была неопишима! Пусть делает что хочет, сказал он себе, хоть на голове стоит, он не будет вмешиваться. Разве он не предупредил ее. Теперь пусть несется навстречу катастрофе и принимает на себя все последствия.

Но по мере того, как проходило время и дни складывались в недели, негодование Финлея тоже проходило, и он начал испытывать огромную тревогу за Дункана. Это сильное чувство, обусловленное его профессией, подкреплялось естественным инстинктом человечности.

Почти месяц спустя, в одну из июньских суббот, проходя по Черч-стрит мимо публичной библиотеки, Финлей наткнулся на Дункана, и все подавленные доктором чувства внезапно обострились.

Дункан, выйдя из библиотеки, где проводил немногие свободные часы среди любимых книг, ужасно хромал, едва осмеливаясь переносить вес на правую ногу.

Лицо Финлея исказила болезненная гримаса. Он так и встал посреди тротуара прямо на пути Дункана и хотя и нахмурил брови, но спросил тихо и по-доброму:

– Как поживаешь, Дункан, малыш?

Вздвигнув, Дункан поднял глаза на доктора, и его бледные щеки залились краской.

– Не так уж плохо, спасибо, доктор. – Он неловко помолчал. – По крайней мере...

– Что «по крайней мере»?

– Надеюсь, что доберусь, – с несчастным видом пробормотал Дункан. – Я иду на работу. Но нет, сам не знаю, что...

Однако Финлей знал, что к чему. Посмотрев вслед прихрамывающему Дункану, он вернулся домой и, пылая возмущением, бросился к Камерону.

– Это беззаконие, – заключил он, яростно вышагивая туда-сюда по комнате. – Мы должны остановить ее. Мы не можем оставаться в стороне и допускать такой произвол. Это совершенно невозможно.

– Да, невозможно, – помолчав, согласился Камерон. – Невозможно для нас в это вмешиваться.

– Но мы обязаны! – яростно воскликнул Финлей.

– Мы не можем! – покачав головой, ответил Камерон. – Ты же знаешь, что мы не можем. Она его мать. Мы не можем навязать свое лечение. Я знаю, что она жестока и сурова с ним, что собственное черное честолюбие ей дороже его здоровья. Но это не имеет никакого значения. Ты не можешь встать между матерью и сыном.

Последовало долгое молчание. Потом Финлей заскрежетал зубами:

– Хороша мать... Да плевала она на мальчика! Называть Джесси Грант матерью – это оскорблять прекрасное слово.

И с видом величайшего презрения Финлей вышел из комнаты в приемную, где сделал большой глоток холодной воды, словно желая очистить рот от мерзкого привкуса.

Дни шли за днями, и Финлей, хотя иногда и возвращался к этой теме, если они с Камероном оставались вдвоем по вечерам, постепенно погрузился в другие заботы. Он больше не

видел Дункана, ничего не слышал о нем, к тому же на него навалилось столько дел, что он совсем перестал думать о мальчике.

И вот однажды осенним вечером Алекс Рэнкин, маленький оборванец, который часто бегал по городу, выполняя разные поручения, явился в приемную с совершенно нереальным сообщением для Финлея. Это был вызов от Джесси Грант.

Первой реакцией Финлея было оцепенение. Затем, когда на него нахлынули полные обиды и горечи воспоминания, связанные с Джесси, с ее несправедливыми нападками, он в запале сказал себе, что никуда не пойдет. Однако мысль о Дункане смягчила его, и он решил похоронить свое ожесточение и немедленно отправиться на вызов.

Вечер выдался темный, шквалистый, ни одной звезды не видно сквозь тяжелые тучи, которые заволокли небо.

Когда Финлей завернул за угол, в сторону кредитного банка Скрогги, ветер подхватил его и чуть не сбил с ног. Магазин Джесси был закрыт, но сквозь маленькое квадратное окошко пробивался слабый свет.

Он сильно дернул за колокольчик, который прозвенел в полутемном помещении, и дверь тотчас открылась.

Он вошел, ни слова не сказав, лишь посмотрев на укутанную в шаль Джесси, которая, сложив руки на груди, молча и непроницаемо глядела на него – ее лицо было суровым и грозным.

Наконец она разжала губы:

– Я хочу, чтобы вы осмотрели Дункана.

– Так я и думал.

Его тон был резким и враждебным, и ему показалось, что его ответ как-то задел Джесси, поскольку она поморщилась. Но ее голос оставался твердым и непреклонным:

– Он все время жалуется на боль в ноге. – И после паузы она добавила, будто через силу: – И кажется, он не горит желанием ходить.

При этих словах внутри у Финлея что-то взорвалось. Он был готов убить Джесси за бесчеловечность.

– А чего вы ждали?! – в бешенстве воскликнул он. – Разве я не предупреждал вас несколько месяцев назад, что так оно и будет? Я знал, что это безумие, я говорил вам, что это безумие – так вести себя, как вы, – но вы не слушали. Вы горе-женщина и плохая мать. В вас нет ни капли любви и доброты. Вы не заботитесь о своем сыне. То, как вы обращались с ним всю его жизнь, – это вопиющий скандал. Стыд – вот что вам следует испытывать, – жгучий стыд за саму себя.

И снова Джесси словно чуть передернуло – ее неподвижную фигуру. Но она не ответила на его филиппику, только холодно сказала:

– Раз вы пришли, осмотрите его.

– Да! – крикнул Финлей, уязвленный сверх всякой меры ледяным безразличием Джесси. – Осмотрю. Но не ради вас. Ради него самого, потому что я люблю его, потому что хочу попытаться вырвать его из ваших клещей.

И, не дожидаясь ее реакции, он повернулся и отправился в комнату, где лежал Дункан.

После его ухода Джесси так и осталась совершенно неподвижной, с по-прежнему напряженным и на удивление отстраненным выражением лица. Финлея не было долго, очень долго, но она даже не шевельнулась. И по мере того, как шли минуты, медленно отсчитываемые у нее за спиной стрелками старых часов, она становилась как бы все более затвердевшей, застывшей, чуть ли не статуей. Лицо Джесси, бледное на фоне темных теней кухни, было словно высечено из гранита.

Наконец Финлей вернулся. Шел он медленно, совсем не так, как когда в бешенстве покинул комнату. Он привел в порядок содержимое саквояжа, потом выпрямился и, не глядя на хозяйку магазина, строго сказал:

– А теперь перейдем от слов к делу. Пора действовать, или будет слишком поздно. Нога в ужасном состоянии. Остается только одно, и, помяните мое слово, делать это надо быстро.

Тишина.

Джесси сильно содрогнулась, как от внутреннего толчка, но в голосе ее сохранилась прежняя каменная суровость.

– Что вы имеете в виду?

Снова тишина. Наконец он взглянул на нее. Его голос был тихим, намеренно ровным:

– Я имею в виду, что ваш сын серьезно болен. Ситуация критическая. Мы должны немедленно доставить его в больницу, думаю, придется оперировать. Делать ампутацию! – Он помолчал, затем заговорил медленно, так, чтобы каждое слово было усвоено: – Вы, как мать, вели себя так, что это может стоить мальчику ноги.

Несколько мгновений не было слышно ничего, кроме завывания ветра снаружи, затем как будто во тьме ее души отозвалось эхо этого свирепого ветра, и Джесси глухо пробормотала:

– Вы имеете в виду, что он может остаться без ноги?

Финлей молча кивнул и, подхватив свой саквояж, вышел в темноту ночи.

Дункана отвезли в больницу на машине «скорой помощи», которую вызвал Финлей, и спустя час ребенок уже лежал в удобной постели. Ему дали разведенное в воде снотворное, и он тотчас заснул. Затем наступило утро, ясное и солнечное, и Финлей пораньше оказался в больнице, снедаемый тревогой по поводу решения, от которого зависела судьба мальчика и которое вскоре предстояло принять.

В светлой, сияющей чистотой палате, склонившись над Дунканом, он провел повторный осмотр – более скрупулезный, благодаря лучшему освещению и более спокойному состоянию пациента, – проверял, обдумывал, взвешивал в уме доводы за операцию и против.

Наконец он, казалось, пришел к благоприятному заключению и, решительно сжав губы, повернулся к стоявшей рядом старшей медсестре. Но не успел он открыть рот, как к нему подошла молодая медсестра:

– Доктор, вас хочет видеть его мать. Она ждет здесь с шести часов утра. Она говорит, что должна увидеть вас, и просто не принимает никаких «нет».

Финлей хотел было отмахнуться, но вдруг передумал. Повинуясь внезапному порыву, он вошел в комнату для посетителей, где его ждала мать Дункана.

И там, на пороге, он остановился. Джесси Грант действительно была в комнате – да, это была она, хотя в другой обстановке Финлей никогда бы ее не узнал. У нее был потухший, отсутствующий взгляд, словно она полностью ушла в себя, и за одну короткую ночь ее волосы приобрели цвет снега. Заламывая руки, будто сопротивляясь чему-то, она раскачивалась взад и вперед и была похожа на сумасшедшую. И все время со стоном произносила имя Дункана. Затем она подняла голову и увидела Финлея. Она рванулась к нему, и на ее лице отразилось невероятное волнение.

– Доктор, – она схватила его за руку, ее речь была прерывистой и сбивчивой, – скажите, как он. Вы не можете этого сделать... Вы же не оставите его без ноги?

Сбитый с толку, не веря своим глазам, Финлей смотрел на ее изменившееся, опустошенное лицо. Наконец он медленно произнес:

– Вы, конечно, немного опоздали со своей заботой.

Но она только сильнее вцепилась в его руку, в ее голосе звучало отчаяние.

– Неужели вы не понимаете, доктор? – Все ее тело содрогалось, как от боли. – Я никогда не говорила вслух, что люблю мальчика. Но я люблю его, доктор! Люблю! Я воспитывала его в суровости. Я боялась, что он станет таким же, как его отец, – слабым, безвольным и беспо-

лезным. Я была с ним жестокой и несправедливой, но в глубине души, доктор, могу сказать, что я любила и люблю его.

Взволнованный этими мучительными признаниями, веря и не веря им, Финлей продолжал пристально смотреть на Джесси.

Она в отчаянии продолжала:

– Я поступила неправильно, доктор. Я честно в этом признаюсь. Но я все исправлю. О, я сделаю все, что вы скажете. Но ради всего святого, пощадите моего мальчика!

Теперь не было ни малейшего сомнения в искренности ее иступленной мольбы. Не в силах больше видеть боль, открыто написанную на этом беззащитном лице, Финлей опустил глаза. Последовало долгое молчание. Затем он тихо сказал:

– Я уже принял решение не оперировать. Думаю, мы можем спасти мальчику ногу. Для этого ему придется месяцы и месяцы лежать в гипсе здесь, в больнице.

– О, доктор, – выдохнула она, как будто читала молитву, – все это не имеет значения, лишь бы вы ему помогли.

Он не ответил, но, услышав странные надрывные звуки, так и замер, преисполненный жалости и удивления. Это были звуки страшных рыданий Джесси.

Табачный магазин, отданный под залог банку Скрогги, теперь в других руках, и Джесси Грант больше там не появляется. Но есть маленькая седовласая женщина, очень тихая и вежливая, которая ведет хозяйство в небольшом симпатичном особнячке на Гарслейк-роуд, принадлежащем Дункану Гранту, молодому преподавателю античности в ливенфордской гимназии.

Когда новые пациенты Финлея говорят, что миссис Грант слишком балует своего умника-сына, доктор отмалчивается. Даже когда Камерон поднимает эту тему, Финлей не ввязывается в дискуссию и лишь с загадочной улыбкой замечает, что всему причиной чудо Лестрейнджа.

9. Варенье из дикой малины

Каждый год, когда земля преподносит свои дары, щедро делаясь урожаем созревших плодов и ягод и вынуждая степенных домохозяек приступать к их заготовке, Финлей неизменно получает великолепный большой горшок малинового варенья из Таннохбрэ, уютного маленького городка на берегу озера за Марклзом.

Много подарков получал Финлей от тамошних жителей, потому что они любили его, а он их, – более того, забота именно об их здоровье приносила ему наибольшее удовлетворение. Да, его много чем одаривали: то гусем, то, к примеру, головкой сыра или лососем, а в сезон и парочкой куропаток. И в частности, из Таннохбрэ. Но эти дары подносились исключительно из чувства приязни и доброты. За ними не стояло ни какого-либо расчета, ни, если уж на то пошло, какой-то необычной истории, но такой историей оказался отмечен этот простой горшок с вареньем.

А вот, если хотите, и сама история.

Несси Сазерленд, красавица из Таннохбрэ, юная и энергичная, пусть из бедных и порой бедно одетая, была так хороша собой и жизнерадостна, что ее прекрасные карие глаза вызывали смятение у тамошних молодых людей.

Да, надо признать, она была славной девушкой, разве что немного своенравной, слишком уверенной в своих чарах; ее голова слегка кружилась от всеобщего внимания, но в душе она была чистой и невинной, как королева лугов таволга, которая так свежо и живо цвела в низинах Таннохбрэ.

У Несси, хотя ей еще не исполнилось двадцати лет, было множество поклонников, но в гонке за ее вниманием и симпатией один из них, казалось, оставлял далеко позади всех остальных. Это был Хью Риах, лихой черноволосый Хью, шести футов ростом, в гетрах и башмаках, широкоплечий, красивый, с живым взглядом и всегда с бойким и сердечным словом наготове.

О, все соглашались, что это был замечательный парень, знающий себе цену, душа компании, завзятый ухажер, которому приписывали немало побед.

Но это еще не все, что можно сказать о Хью! Помимо привлекательной внешности и нескрываемой предрасположенности к галантному волокитству, он был наследником фермы в Таннохбрэ, что давало ему реальное преимущество перед прочими, особенно в глазах матери Несси, которая, вынужденная горбатиться по бедности, постоянно твердила дочери, что возок добра да горка серебра – весомый аргумент для бесприданницы.

Впрочем, это мало что меняло, хотя и было по-своему полезно, потому что Несси была увлечена бесшабашным Хью, а Хью на сей раз в такой же мере был увлечен ею.

В тот июльский день, рыбака на озере со своим лучшим другом Питером Дональдом, он не стеснялся откровенничать о своих высоких чувствах и намерениях.

– Я без ума от нее, Питер, – заявил он в своей пафосной манере. – Я не буду счастлив, пока она не станет моей. Она просто околдовала меня. Старина, ты вряд ли поверишь, но я настолько поглощен Несси, что даже мысль о сельском празднике и о том, чтобы выиграть в соревновании «Гордость Верескового края», ничего не значит по сравнению с этим. Говорю тебе, Питер, я не успокоюсь, пока не добьюсь Несси.

Питер Дональд молчал, размышляя, возможно, о том, сколь велика должна быть любовь Хью, чтобы он забыл о честолюбивой мечте, которая последние двенадцать месяцев не давала ему покоя, а именно выиграть соревнования на празднике под названием «Гордость Верескового края», где в качестве приза полагался бык. Наконец Питер пробормотал:

– Может, и поверю, Хью. Я сам всегда был хорошего мнения о Несси.

Он таким и был, немногословным, молчаливым и не очень-то общительным парнем, который учился на пастора, надеясь в конце концов получить приход в Таннохбрэ. Он был абсолютно не похож на красавца Хью: на вытянутом лице всегда серьезное выражение, в карих глазах не веселье, а сочувствие и доброта. И все же, хотя он был застенчив, побаивался женщин, предпочитая всему книги, в нем не было абсолютно ничего от книжного червя.

Питер знал лес, птиц и зверей, там обитающих. Он был лучшим рыбаком в Таннохбрэ и, несмотря на сутуловатость из-за долгого сидения за книгами, имел большие бицепсы и в метании кейбера⁶ ему не было равных среди односельчан.

В этот момент Питер, казалось, боролся с собой, как будто хотел продолжить разговор, но что-то, возможно застенчивость, удерживало его. А потом вдруг ему на крючок попался лосось, и за суматохой, пока вытаскивали рыбину, тема разговора повисла в воздухе. Повисла, но не была забыта. Тем вечером в местном пабе «Герб Таннохбрэ» Хью продолжал разглагольствовать о своей страсти.

Стукнув кулаком по столу, после нескольких порций спиртного, воодушевивших его, он взревел:

– Есть две вещи, которые я собираюсь сделать в ближайшие несколько недель. Я собираюсь выиграть приз и сделать своей невестой прекрасную Несси Сазерленд. – (Ответом ему было настороженное молчание.) – Это просто поэзия, – продолжал Хью, озираясь вокруг с полупыльной ухмылкой, – лучшие стихи из всего когда-либо написанного.

Поэзия Хью, или, по крайней мере, его чувства, недолго оставалась тайной и, обойдя весь городок, достигла неприметного дома, в котором жили миссис Сазерленд и Несси.

Пожилая женщина пришла при этом в прекрасное расположение духа, да и сама Несси не стала изображать недовольство столь явными знаками внимания со стороны красавца-поклонника.

Мать и дочь сидели в теплых сумерках возле своего дома, обсуждая Хью и его достоинства, когда с пойманным в тот день лососем мимо проходил Питер Дональд.

– Миссис Сазерленд, – без всякой помпы заметил он, – я подумал, что, может, вам не будет лишней эта рыбина. У нас дома уже есть одна, и мы не такие уж большие любители лососины.

Такая застенчивость при преподнесении подарка вызвала смех у Несси, и она подумала, что будь на месте Питера галантный Хью, он бы воскликнул: «Дарю прекрасного лосося, красавица Несси, я поймал его специально для тебя!»

Несси было хорошо известно об отношении Питера к ней, что началось еще в их общие школьные годы. Это льстило ее самолюбию, хотя, конечно, у Питера в этом смысле было мало шансов по сравнению с таким лихим кавалером, как Хью.

⁶ *Метание кейбера* (очищенного от сучьев ствола молодого дерева) – шотландский национальный вид спорта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.